



В. П. Бурнашев

# Воспоминания петербургского старожила 2



РОСИЯ В  
МЕМОАРАХ

**Владимир Петрович Бурнашев**  
**Воспоминания петербургского**  
**старожила. Том 2**  
**Серия «Россия в мемуарах»**

*Текст книги предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=68322326](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68322326)*

*Воспоминания петербургского старожила. Том 2: Новое литературное  
обозрение; Москва; 2022  
ISBN 978-5-4448-2081-0*

### **Аннотация**

Журналист и прозаик Владимир Петрович Бурнашев (1810-1888) пользовался в начале 1870-х годов широкой читательской популярностью. В своих мемуарах он рисовал живые картины бытовой, военной и литературной жизни второй четверти XIX века. Его воспоминания охватывают широкий круг людей – известных государственных и военных деятелей (М. М. Сперанский, Е. Ф. Канкрин, А. П. Ермолов, В. Г. Бибииков, С. М. Каменский и др.), писателей (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин, О. И. Сенковский, А. С. Грибоедов и др.), также малоизвестных литераторов и журналистов. Мемуары особенно интересны тем, что их автор тщательно фиксировал слухи, сплетни и анекдоты, циркулировавшие в русском обществе второй половины XIX века. Репутации литераторов того времени,

быт, балы, развлечения, литературные салоны, кулинария, одежда – все это в воспоминаниях Бурнашева передано ярко и достоверно. В книгу вошла также не публиковавшаяся ранее статья выдающегося литературоведа Ю. Г. Оксмана о Бурнашове.

# Содержание

Воспоминания петербургского старожила	5
Кое-что из моих «Воспоминаний»	5
о прославившемся дуэлью с Пушкиным бароне Дантесе-Гекерне	
Михаил Юрьевич Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников	20
Конец ознакомительного фрагмента.	83

**В. П. Бурнашев**  
**Воспоминания**  
**петербургского старожила**  
**Том 2**

**Воспоминания**  
**петербургского старожила**

**Кое-что из моих «Воспоминаний»**  
**о прославившемся дуэлью с**  
**Пушкиным бароне Дантесе-Гекерне**

На этих днях на этих же самых столбцах (№ 268, 269) напечатана была моя же ретроспективная статья «Улан Клерон», в которой я сочувственно вспоминал о фазисах честной жизни и честной службы новому своему отечеству, России, иностранца, достойного доброй о нем памяти русских людей; теперь же здесь, по поводу заметки редакции «Русского архива» (№ 9, на стр. 1829–1830), сделанной к одному эпизоду напечатанной там моей статьи «М. Ю. Лермон-

тов в рассказах его гвардейских однокашников»<sup>1</sup>, я посвящаю мои воспоминания, напротив, такому иноземцу, деятельность которого отразилась пошлостью для него самого и безуспешной скорбью для всей России – смертью, насильственную смертью нашего великого поэта Пушкина.

Передаю здесь теперь – без всяких, впрочем, с моей стороны комментариев – все то, что я лично знаю и помню об этом *monsieur* Дантесе, имя которого навсегда бы, конечно, без этой роковой дуэли осталось в том мраке неизвестности, которого оно вполне достойно.

Первый раз в жизни узнал я о *monsieur* Дантесе в конце 1832 года<sup>2</sup>, именно – в доме почтенного генерала А. И. Хатова (переводчика истории войны 1812 года, сочиненной на французском языке Д. П. Бутурлиным), от молодого (в то время) поручика гвардейской конной артиллерии Павла Семеновича Мухина (умер, кажется, в пятидесятых годах, будучи полковником и командиром одной гвардейской конной батареи). Это был очень умный, очень образованный моло-

---

<sup>1</sup> К указанной статье Бурнашева редактор «Русского архива» П. И. Бартенев сделал несколько примечаний, но на указанных страницах их нет. Видимо, Бурнашев имел в виду следующее примечание, напечатанное на предшествующих 1827–1828-й страницах, к месту, где характеризуется наглое поведение Дантеса во время военного суда над ним: «Другие, более достоверные рассказы свидетельствуют, что Дантес не только не позволял себе подобных выходов, но [и] просил государя позволить ему перейти на службу солдатом на Кавказ, дабы доказать, как он чувствует великость причиненного им Русской земле горя».

<sup>2</sup> Дантес приехал в Россию 8 сентября 1833 г., так что в 1832 г. Бурнашев не мог узнать о нем.

дой человек и приятный рассказчик. В числе гостей генерала Хатова в то воскресенье, помнится, были: граф А. Л. Гейден, офицер лейб-гвардии Волынского полка<sup>3</sup> (ныне, кажется, здравствующий, но давно находящийся в отставке по болезни) и еще граф Сиверс, очень молоденький семеновский офицер<sup>4</sup>, адъютант тогдашнего начальника штаба гвардии П. Ф. Веймарна<sup>5</sup>, т. е. чрез то сослуживец сына хозяина дома, молодого лейб-гвардии Гренадерского полка подпоручика Сергея Александровича Хатова.

После обеда в особой далекой отдельной комнате квартиры, которую занимал генерал в доме Главного штаба, над библиотекой Генерального штаба, эти молодые офицеры и я, их одноклассники, курили обыкновенно наши пахитосы и трубукосы<sup>6</sup>, так как здесь, да и повсеместно в семейных домах, даже табачный запах, не только дым, считался в те времена *l'èse bonne société*<sup>7</sup>. Вот тут-то П. С. Мухин рассказал нам,

---

<sup>3</sup> В 1832 г. А. Л. Гейден служил в Гвардейском экипаже, в лейб-гвардии Волынский полк он перешел в октябре 1833 г. (см.: *Луганин А. И.* Опыт истории Лейб-гвардии Волынского полка. Варшава, 1889. Ч. 2. Приложение № 11. С. 15).

<sup>4</sup> В списке офицеров лейб-гвардии Семеновского полка нет Сиверса, который служил бы в этот период (см.: *Дирин П. Н.* История лейб-гвардии Семеновского полка. СПб., 1883. Т. 2. Приложение 9. С. 156). Возможно, имеется в виду ротмистр Конного полка граф Павел Петрович Сиверс.

<sup>5</sup> П. Ф. Веймарн возглавлял штаб Гвардейского корпуса в 1831–1842 гг.

<sup>6</sup> Трубукосы – сорт небольших легких толстых сигар.

<sup>7</sup> оскорблением хорошего общества (*фр.*).

что он вчера был на *soirée dansante*<sup>8</sup> известного в ту пору богача, ведшего сильную картежную игру, Василия Васильевича Энгельгардта, дом которого у Казанского моста (ныне дочери его, вдовы г-жи Ольхиной) почти весь был тогда нанимаем под дворянское собрание, как ныне большая его часть нанимаема под купеческое собрание. Вечер Энгельгардта был изящный, как всегда бывали вечера этого блистательного и тароватого амфитриона. На этот раз вечер давался по случаю перехода сына В. В. Энгельгардта, юнкера лейб-гвардии Уланского полка, в лейб-гвардии Гусарский полк, почему здесь преобладал элемент военной молодежи, состоявшей преимущественно из юнкеров кавалерийского отдела гвардейской школы; фраков было очень мало, и в числе их два, только что прибывшие из-за границы, премолоденькие французики, а именно: маркиз де Пина (*de Pinas*) и какой-то Дантес, носящий фамилию, не находящуюся во французском блазоне (гербовнике), по-видимому, из французских буржуа<sup>9</sup>. Оба эти французика, как говорил Мухин и подтверждали графы Сиверс и Гейден, были камер-пажами герцогини Беррийской, рекомендовавшей их письменно, в особенности Дантеса, как сына ее преданнейшей камер-фрау<sup>10</sup>, императору Николаю Павловичу для принятия их в русскую военную службу. Маркиз Пина принят был прапор-

---

<sup>8</sup> танцевальном вечере (*фр.*).

<sup>9</sup> Предок Дантеса, фабрикант, стал дворянином и бароном в 1731 г.

<sup>10</sup> Имеется в виду графиня Мария-Анна Гацфельд, в замужестве Дантес.

щиком в молодую гвардию, именно в австрийский полк<sup>11</sup>. Это был довольно скромный и приличный молодой человек, умевший себя держать с достоинством, без малейшего фатовства. Он довольствовался своими собственными небольшими средствами, отказывался от всякой милостыни, в виде царской субсидии, старался как можно скорее изучить русский язык и русскую грамоту и спустя несколько времени перешел на службу на Кавказ, где, как впоследствии уже говорили в Петербурге, участвовал молодецки в нескольких отчаянных экспедициях и в одной из них нашел честную смерть. Он принадлежал к старинной французской фамилии и был роялистом до мозга костей, почему считал службу а l'autocrate de toutes les Russies<sup>12</sup> продолжением своей службы под знаменами легитимизма. С товарищем своим, Дантесом, даже на вечере у Энгельгардта, как заметил тогда Мухин, он, этот маркиз, держал себя холодно и сухо и конфузился, когда тот, со своими залихватскими манерами дурного тона, отмачивал некоторые остроты, напоминавшие все, кроме хорошего общества. К тому же все бывшие на этом энгельгардтовском вечере не могли не заметить, что бывший камер-паж герцогини Беррийской отличался необыкновенной неловкостью и неуклюжестью в танцах. П. С. Мухин уверял тогда нас, что этот Дантес, парень лет двадцати, белобрысый, розовый, немножко сутуловатый с широчайшею спиной и слиш-

---

<sup>11</sup> Имеется в виду Гренадерский его величества императора австрийского полк.

<sup>12</sup> российскому самодержцу (*фр.*).

ком плотный для своих лет.

Спустя несколько дней после этого разговора я в «Русском инвалиде» прочел в приказах о том, что бывший камер-паж двора ее королевского высочества герцогини Беррийской Дантес принимается корнетом в Кавалергардский ее императорского величества полк. Вскоре после этого, ужиная вместе с несколькими знакомыми мне молодыми людьми в дворянском собрании, во время какого-то масленичного маскарада, я уже видел этого самого Дантеса с несколькими кавалергардами, между которыми рельефнее всего проявлялся известный тогдашний самодур «Савка» Яковлев, сын знаменитого богача, Алексея Ивановича Яковлева, соперничавшего с Демидовыми своими железными заводами в Сибири<sup>13</sup>. Вся эта шумная компания ужинала за отдельным далеким столом в обществе нескольких французских второстепенных актрис и танцовщиц, снявших маски и хохотавших до упада, особенно тем очень не салонным остроумом, какие сыпал крайне белокурый молоденький корнет, оказавшийся именно Дантесом. За другим столом, помещавшимся рядом с тем, за которым сидел я с приятелями, было несколько офицеров постепеннее юной кавалергардской компании, и эти господа, кирасиры, уланы и конногренадеры, довольно громко вели свои речи, из которых невольным образом можно было узнать много курьезного; но здесь всему этому не

---

<sup>13</sup> Бурнашев подробно охарактеризовал Савву Яковлева в своей книге «Наши чудодеи» (СПб., 1875. С. 216–269), изданной под псевдонимом Касьян Касьянов.

место, почему, в уважение специальности моего предмета, скажу только, что относительно этого белокурого господина Дантеса соседи наши высказали: «Не хочет учиться говорить по-русски, а командные слова добрые товарищи ему понаписали французскими буквами; отвратительно дурно ездит верхом, и потому его взводному начальнику, поручику Василию Петровичу Апрелеву (умер полковником), знаменитому толстяку, но ездоку превосходному, с этим „Дантестишкой“ сущая комиссия. А со всем тем счастье-то ему какое: из собственной шкатулки государя назначено ему 5000 рублей ассигнациями в год содержания, дана казенная квартира и подарены с придворной конюшни два коня, парадер и подъездок<sup>14</sup>. Просто лафа!»

Года полтора или даже два спустя я однажды недумано, неожиданно попал на один чисто французский вечер людей далеко не аристократического полета. На Невском проспекте против Гостиного двора был дом Рогова, а в доме этом был французский магазинчик всякой всячины мадам Дюливье, моей старинной знакомой, о которой я упоминал в моих воспоминаниях, в «Русском вестнике», как прошлого 1871, так и настоящего года<sup>15</sup>. Она была кузиной жены славивше-

---

<sup>14</sup> Подъездок – запасная лошадь.

<sup>15</sup> Бурнашев имеет в виду статью «Мое знакомство с Воейковым...» (см. там о Дюливье на с. 127, 128 и 188 1-го тома) и «Воспоминания об эпизодах из моей частной и служебной деятельности» в «Русском вестнике» (о Дюливье см. на с. 111–115 № 7 за 1872 г.). Отметим, что, рекламируя этот магазин в «Смеси» «Северной пчелы» (1833. № 295), Бурнашев писал фамилию хозяев как «Дювилье».

гося тогда во всем Петербурге парикмахера Шарля, имевшего свой блестящий магазин в доме Петропавловской церкви. Этот Шарль был громко известен как куафер<sup>16</sup>, а с тем вместе, и едва ли не больше, как каламбурист, который, причисывая ежедневно великого князя Михаила Павловича, снабжал его высочество своими каламбурами, изготовляемыми им почти каждый вечер в коллабораторстве двух своих компатриотов<sup>17</sup>, актера Верне и кавалергардского офицера Дантеса. И вот, благодаря убеждениям развеселой француженки Дюливье, мне привелось быть на одном весьма оживленном и приятном в своем роде парикмахерском балике, по случаю дня рождения супружницы мосье Шарля. Танцовавшие тут кавалеры были все во фраках; но между этими фрачниками проявились-таки двое в мундирах и эполетах, из которых один был путеец, фат, Альфонс де Резимон<sup>18</sup>, а дру-

---

<sup>16</sup> Куафер – устаревшее название парикмахера.

<sup>17</sup> Компатриот (*устар.*) – соотечественник.

<sup>18</sup> Отец этого фата, прибавлявшего к своей фамилии частицу de без особенно-го на то права, был в чине генерал-майора и инспектором классов Института путей сообщения. Старик этот, педант, впрочем, далеко не ученый, был во Франции репетитором теологии в какой-то уездной семинарии, а при Бетанкуре был назначен в институт профессором черчения (*dessin linéaire*), о котором он понятия не имел. Ему надели в 1817 году майорские эполеты, а в 1835 году он был уже превосходительным. Жена его была маленькая брюнетка, истая пуассардка [Пуассардка – рыночная торговка (*фр.*), в более широком значении – грубая женщина.], не умевшая говорить по-русски, но ее сын, этот самый Alphonse, шутки ради выучил ее всему лексикону наших монгольских ругательных слов, которые она щедро высыпала в Гостином дворе, где ее превосходительство однажды за это знание одной стороны русского языка преизрядно поплатилась.

гой фельдъегерский прапорщик Лефевр, щеголявший своим золотым аксельбантом и своим белым перистым султаном на треуголке, которую, ради плюмажа, он таскал под левой мышкой даже в танцах. Оба эти «милитеры»<sup>19</sup>, как называли их дамы этого общества, большею частью модистки и мелкотравчатые актриски, несколько раз во время вечера осведомлялись у хозяина дома, monsieur Шарля, почему это их общий приятель Дантес не приехал? Один из ответов Шарля я слышал ясно во время ужина. Ответ этот, сопровождаемый различными парижскими, невозможными в русском переводе каламбурами, остротами и игрою слов, не очень цензурного характера, заключался в том, что Дантеса на днях ни с того ни с сего усыновил голландский барон Гекерн и что теперь этот их общий приятель уже не просто Дантес, а барон Дантес-Гекерн, который, по-видимому, вздумал ломаться и важничать, отзываясь тем, что в этот вечер он давно заарестован вечером графини Воронцовой-Дашковой. Француз-амфитрион кончил тем, что поклялся за эту обиду отомстить бывшему камер-пажу беррийского двора тем, что не будет отныне впредь цитировать великому князю (à monseigneur) Дантесовых каламбуров, так как он только этим одним выигрывал доселе там, где были очень недовольны его фронтовой службой.

Не прошло месяца, помнится, после этого парикмахерского бала, на котором мне привелось быть так нечаян-

---

<sup>19</sup> военные (фр.).

но и, поистине скажу, провести время далеко веселее, чем на балах нашей чиновничьей аристократии, и с тем вместе узнать курьезные подробности о мусье Дантесе, я находился во французском спектакле в Михайловском театре. Во время одного антракта я, оставив свое место, из числа тех, что подешевле, в задних рядах против скамеек, подошел к одной из бенуарных лож, где сидело знакомое мне семейство. В это самое время в ложу, бывшую рядом, в которой кроме одетой по самой последней моде дамы никого не было, вошел белокурый, розовощекий, расфранченный и тщательно завитой кавалергард, который, карикатурно произнося русские слова, нараспев сказал: «З-д-р-а-в-с-т-в-у-й-т-е к-н-я-г-и-н-я!», и эта княгиня – модная картинка тотчас стала ломаться и беззвучно хохотать, кокетливо закрываясь веером; а кавалергард объявил торжественно, уже по-французски и с парижским грассированием, что это единственно все то, что он знает из русского языка, кроме командных слов, и то благодаря серому жако княгини, который выучил его произносить эти два слова. Тогда княгиня-марионетка, опять ломаясь и кобенясь, стала уверять *cher baron* (любезного барона), что ей, как истой патриотке, желательно, чтоб он превозмог свою антипатию к русскому языку и заговорил бы по-русски, *ne fut-ce que pour rire* (хоть смеха ради). Барон, этот бывший камер-паж беррийской герцогини, столь известной своими эксцентричными проделочками<sup>20</sup>, и нынешний пору-

---

<sup>20</sup> После того как муж герцогини Беррийской, племянник французского короля

чик первого полка русской гвардейской кавалерии, усыновленный вследствие какой-то грязноватой тайны развратным голландцем, холостым и бездетным, тогда громко на всю залу и во всеуслышание сказал: «Pourquoi pas? j'aurais appri le russe, si je ne craignais en parlant cette langue de me démettre la machoire» (Зачем нет, я выучился бы русскому языку, ежели бы не боялся, говоря по-русски, сломать себе челюсть). Княгиня-кукла и некоторые ей подобные, из породы не признающих отчизны аристократок, веселым смехом аплодировали своему милому нововыпеченному барону; но на массу русских зрителей французского спектакля слова эти подействовали неприятно, и в зале послышался неодобрительный ропот, заставивший розового блондина искать убежища за веером княгини, не защитившим, однако, слуха его настолько, чтоб он не услышал слов: «Fat, polisson, chenapan!»<sup>21</sup> и прочих подобных любезностей, громче которых раздался из первого ряда кресел чей-то ясный и сильный голос: «Monsieur le baron ne paraît pourtant pas avoir peur de se démettre la machoire, en mangeant tous les jours le pain de notre hospitalité russe» (Господин барон, однако, не обнаруживает боязни сломать свою челюсть, когда ежедневно ест хлеб на-

---

Карла X, был убит в 1820 г., а Карл X был свергнут в 1830 г., она попыталась возвести на трон своего сын Генриха. В 1832 г. герцогиня Беррийская высадилась с ним близ Марселя. Однако восстание ее сторонников в этом городе было подавлено, она бежала в Вандею, но вскоре была арестована, содержалась в тюрьме как государственная преступница и лишь в следующем году была освобождена.

<sup>21</sup> «Фат, повеса, негодай!» (фр.).

шего русского гостеприимства). Публичный этот урок француз-фату был дан русским генерал-лейтенантом, носившим немецкую фамилию, при чисто русском сердце, именно бароном Константином Антоновичем Шлиппенбахом. Занавес взвился, началась новая пьеса, все сели на свои места, и в зале воцарилась тишина. Я, садясь на свое далекое от рампы кресло или, скорее, стул, взглянул на ложу бенуара, где сию минуту была блестящая барыня, за веером которой прятался новый барончик. Ложа была пуста, и только на ее барьере, обитом темно-синим плюсом, лежала афиша, напечатанная на веленовой бумаге. «Ну, голубчик, – подумал я, – сказал бы ты такую нахальность в Лондоне, Вене или Берлине – была бы твоя розовая физиономия изрядно оскорблена градом гнилых яблок!»

Известно, что во время роковой дуэли 27 января 1837 года, когда пуля Дантеса впиалась в грудь нашего бесценного Пушкина, последний, поддерживаемый секундантами, хотел выстрелить в противника и выстрелил действительно; но ослабевшая рука не могла держать твердо пистолета, а померкшее зрение изменяло при нацеливании, и г. Дантес получил в локоть левой руки такую легкую контузию, залечить которую было легко одним, много двумя компрессами арники. Со всем тем контузия послужила претекстом<sup>22</sup> этому «герою» носить левую руку на черной шелковой перевязи во все время своего нахождения на гауптвахте и при явках в воен-

---

<sup>22</sup> То есть поводом.

но-судную комиссию, в здании казарм лейб-гвардии Конного полка. На членов комиссии, само собою разумеется, эта повязка ни малейшего эффекта не производила; а за тем, дамы высшего общества, вроде той смешной княгини, серый попугай которой учил monsieur Дантеса по-русски, вменяли себе в обязанность выражать ему свое участие, даже публично. В то самое время, когда всё мало-мальски интеллектуальное и честное народонаселение столицы горько оплакивало родного поэта, проклиная ту блестящую среду, в которую втолкнула его роковая судьба, эти самые дамы в экипажах подъезжали по несколько раз в день к платформе гауптвахты на Сенной, где всегда к ним являлся Дантес в белой фуражке набекрень, в форменном сюртуке на легком меху, имея левую руку на шелковом черном бандольере<sup>23</sup> и жестикулируя правую, причем лицо его смеялось, а из уст летели стереотипные слова: «Dites leurs donc (princesse или comtesse), que je ne demande pas mieux que de verser mon sang au Caucase pour expier la mort de leurs poète» и пр. и пр. (Скажите же им (княгиня или графиня), что я готов пролить мою кровь на Кавказе за смерть их поэта).

Женатый, как известно, за три месяца до дуэли, стараниями Пушкина, на его свояченице, девице Гончаровой, старшей сестре его жены, барон Дантес-Гекерн, высланный из России, блаженствовал в чужих краях, где посещал модные воды карлсбадские, баденские и другие. На одни из этих

---

<sup>23</sup> Бандольер – перевязь, наплечный ремень для ношения оружия.

вод в котором-то из сороковых годов приехал великий князь Михаил Павлович. Дантес всячески старался с ним встретиться и имел *mauvais gout*<sup>24</sup> отдавать его высочеству воинскую честь, карикатуря стойку русского солдата перед генералом. Мне известно из достоверных источников, что его высочеству, как человеку со вкусом и преимущественно с душою, не понравился этот фарс, и он старался избегать встреч с этим искателем приключений, некогда сотрудничавшим на фабрике каламбуров бывшего двора его куафера Шарля.

В 1867 году, вскоре по появлении в свете брошюры о дуэли Пушкина<sup>25</sup>, встретил я на улице, именно в Итальянской, около Пассажа, старинного моего знакомого, отставного генерал-майора Константина<sup>26</sup> Карловича Данзаса, который был лицейским товарищем Пушкина и его секундантом в несчастной дуэли. Мы прошли с ним несколько раз по Штейнбоковскому пассажиу<sup>27</sup>, разговаривая об этой самой брошюре. Он заметил мне некоторые ее неточности, поясняя их. При этом я коснулся личности Дантеса, рассказав ему все то, что теперь вы, читатель, прочли. Данзас подтвердил,

---

<sup>24</sup> дурной вкус (*фр.*).

<sup>25</sup> По-видимому, имеется в виду следующее издание: Воспоминания графа В. А. Соллогуба: Гоголь, Пушкин и Лермонтов. Новые сведения о предсмертном поединке Пушкина. М., 1866.

<sup>26</sup> В тексте здесь и далее ошибочно: Александр.

<sup>27</sup> Имеется в виду Пассаж на Невском пр., 48, который построил граф Я. И. Эссен-Стенбок-Фермор в 1846–1848 гг.

что, сколько ему известно, все это именно так, а не иначе, да по характеру г-на Дантеса, по-видимому, иначе-то и быть не могло, потому что истинно честный француз не умеет быть двуличным в своей политической жизни. Дантес же был легитимистом в качестве камер-пажа герцогини Беррийской, благодетельствовавшей его, отрекомендовав так горячо императору Николаю Павловичу, под гостеприимным крылом которого он мог сделать такую блестящую карьеру. И чем же заплатил он старшей бурбонской линии? Тем, что в начале пятидесятых годов сделался бонапартистом, т. е. пристал к правительству и двору, жестоко враждебным поборникам белой лилии<sup>28</sup>. Известно, что этот барон Гекерн был камергером при дворе Наполеона III<sup>29</sup>. «Что же касается, – сказал покойный Константин Карлович, – до выраженного в 1837 году Дантесом желания, шутки ради и положительно лишь для красивого позированья, а не для чего иного прочего, проливать кровь свою на Кавказе, то, ежели бы желание это было искреннее, а не пошлые слова, пущенные им на ветер, конечно, он из чужих краев, чрез Австрию, мог приехать в Одессу и явиться на Кавказе, где волонтеров в ту пору принимали беспрепятственно».

---

<sup>28</sup> Белая лилия – эмблема королевской власти во Франции.

<sup>29</sup> Камергером Дантес не был.

# **Михаил Юрьевич Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников**

**(Из «Воспоминаний» В. П. Бурнашева,  
по его ежедневнику, в период времени  
с 15 сентября 1836 по 6 марта 1837 г.)**

В одно воскресенье, помнится, 15 сентября 1836 года, часу во втором дня, я поднимался по лестнице конногвардейских казарм в квартиру доброго моего приятеля А. И. Синицына, с которым я года за два перед тем познакомился у П. Н. Беклемишева и теперь шел к нему приглашать на танцевальный вечер 17 сентября к общим нашим знакомым Масловым, тогда недавно водворившимся в столице, куда, для воспитания детей, они переселились из Рязани. Синицын в эту пору только что был произведен в поручики и назначен помощником командира запасного эскадрона, т. е. такого эскадрона, который состоял из молодых солдат и кантонистов<sup>30</sup>, большинство коих готовилось в музыканты, фельд-

---

<sup>30</sup> Кантонисты – несовершеннолетние солдатские сыновья и взятые принудительно в армию дети евреев, старообрядцев, польских повстанцев и цыган в России в 1805–1856 гг.

шера, писаря и в разные другие полковые должности, состоя преимущественно из грамотного люда. Подходя уже к дверям квартиры Синицына, я почти столкнулся с быстро сбегавшим с лестницы и жестоко гремевшим шпорами и саблею по каменным ступеням молоденьким гвардейским гусарским офицером в треугольной, надетой с поля, шляпе, белый перистый султан которой развевался от сквозного ветра. Офицер этот имел очень веселый, смеющийся вид человека, который сию минуту видел, слышал или сделал что-то пресмешное. Он слегка задел меня или скорее мою камлотовую шинель на байке (какие тогда были в общем употреблении) длинным капишоном своей распахнутой и почти распушенной серой офицерской шинели с красным воротником и, засмеявшись звонко на всю лестницу (своды которой усиливали звуки), сказал, вскинув на меня свои довольно красивые, живые, черные как смоль глаза, принадлежавшие, однако, лицу бледному, несколько скуластому, как у татар, с крохотными тоненькими усиками и с коротким носом, чуть-чуть приподнятым, именно таким, какой французы называют *pez à la cousine*<sup>31</sup>: «Извините мою гусарскую шинель, что она лезет без спроса целоваться с вашим гражданским хитоном», и продолжал быстро спускаться с лестницы, все по-прежнему гремя ножнами сабли, не пристегнутой на крючок, как делали тогда все светски благовоспитанные кавалеристы, носившие свое шумливое оружие с большою аккуратностью и

---

<sup>31</sup> вздернутым носом (*фр.*).

осторожностью, не позволяя ему ни стучать, ни греметь. Это было не в тоне. Развеселый этот офицерик не произвел на меня никакого особенного впечатления, кроме только того, что взгляд его мне показался каким-то тяжелым, сосредоточенным<sup>32</sup>; да еще, враг всяких фамильярностей, я внутренне нашел странную фамильярность его со мною, которого он в первый раз в жизни видел, как и я его. Под этим впечатлением я вошел к Синицыну и застал моего доброго Афанасия Ивановича в его шелковом халате, надетом на палевую канавосовую с косым воротом рубашку, занятого прилежным смахиванием пыли метелкою из петушьих перьев со стола, дивана и кресел и выниманием окурков маисовых пахитосов, самого толстого калибра, из цветочных горшков, за которыми патриархальный мой Афанасий Иванович имел тщательный и старательный личный уход, опасаясь позволять слугам касаться до его комнатной флоры, покрывавшей все его окна, увешанные, кроме того, щеголеватыми проволочными клетками, в которых распевали крикуньи-канарейки и, по временам, заливались два жаворонка, датский и курский.

– Что это вы так хлопчете, Афанасий Иванович? – спросил я, садясь в одно из вольтеровских кресел, верх кото-

---

<sup>32</sup> Ср.: «Лермонтов был брюнет, с бледно-желтоватым лицом, с черными как уголь глазами, взгляд которых, как он сам выразился о Печорине, был иногда тяжел. Невысокого роста, широкоплечий, он не был красив, но почему-то внимание каждого, и не знавшего, кто он, невольно на нем останавливалось» (*Меринский А. Воспоминание о Лермонтове // М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 170*).

рого прикрыт был антимакассаром<sup>33</sup>, чтоб не испортил бы кто жирными волосами яркоцветной штофной<sup>34</sup> покрышки, впрочем, и без того всегда покрытой белыми коленкоровыми чехлами.

– Да как же, – отвечал Синицын с несколько недовольным видом, – я, вы знаете, люблю, чтоб у меня все было в порядке, сам за всем наблюдаю; а тут вдруг, откуда ни возьмись, влетает к вам товарищ по школе, курит, сыплет пепел везде, где попало, тогда как я ему указываю на пепельницу, и вдобавок швыряет окурки своих проклятых трубуков<sup>35</sup> в мои цветочные горшки, при всем этом без милосердия болтает, лепечет, рассказывает всякие грязные истории о петербургских продажных красавицах, декламирует самые скверные французские стишонки, тогда как самого-то Бог наградил замечательным талантом писать истинно прелестные русские стихи. Так небось не допросишься, чтоб что-нибудь свое прочел! Ленив, пострел, ленив страшно, и что ни напишет, все или прячет куда-то, или жжет на раскурку трубок своих же сорвиголов гусаров. А ведь стихи-то его, это просто музыка! Да и распречестный малый, превосходный

---

<sup>33</sup> Антимакассар – салфетка, которая кладется под голову на спинку кресла; название произошло от макассового масла, которое в викторианской Англии использовалось мужчинами для укладки волос.

<sup>34</sup> То есть изготовленной из штофа – декоративной тяжелой шелковой или шерстяной одноцветной ткани с тканым узором.

<sup>35</sup> Толстые пахитосы в маисовой соломе, вроде нынешних папиросов, явившихся в Петербурге только в конце сороковых годов.

товарищ! Вот даже сию минуту привез мне какие-то сто рублей, которые еще в школе занял у меня Курок<sup>36</sup>. . . Да, ведь вы Курка не знаете: это один из наших школьных товарищей, за которого этот гусарчик, которого вы, верно, сейчас встретили, расплачивается. Вы знаете, В[ладимир] П[етро-вич], я не люблю деньги жечь; но, ей-богу, я сейчас предлагал этому сумасшедшему: «Майошка, напиши, брат, сотню стихов о чем хочешь: охотно плачу тебе по рублю, по два, по три за стих с обязательством держать их только для себя и для моих друзей, не пуская в печать». Так нет, не хочет, капризный змееныш этакий, не хочет даже «Уланшу» свою мне отдать целиком и в верном оригинале, и теперь даже бо-жился, греховодник, что у него и «Монго» нет, между тем Коля Юрьев давно у него же для меня подтибрил копию с «Монго». Прелесть, я вам скажу, прелесть, а все-таки не без пакостной барковщины<sup>37</sup>. *C'est plus fort que lui!*<sup>38</sup> Еще у этого постреленка, косолапого Майошки, страстишка дразнить

---

<sup>36</sup> А. Меринский вспоминал: «У нас был юнкер Ш[аховско]й, отличный товарищ; его все любили, но он имел слабость сердиться, когда товарищи трунили над ним. Он имел пребольшой нос, который шалуны юнкера находили похожим на ружейный курок. Шаховской этот получил прозвище Курка и Князя-носа. В стихотворении „Уланша“ Лермонтов о нем говорит: Князь-нос, сопя, к седлу прилет — Никто рукою онемелой Его не ловит за курок». (Меринский А. М. М. Ю. Лермонтов в юнкерской школе // М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. С. 166–167).

<sup>37</sup> То есть эротических мотивов и нецензурной лексики в духе поэта И. С. Баркова (1732–1768).

<sup>38</sup> Он перед этим не может устоять! (*фр.*).

меня моею аккуратною обстановкою и приводить у меня мебель в беспорядок, сорить пеплом, и, наконец, что уж из рук вон, просто сердце у меня вырывает, это то, что он портит мои цветы, рододендрон вот этот, и как нарочно выбрал же он рододендрон, а не другое что, и забавляется, разбойник этакой, тем, что сует окурки в землю, и не то чтобы только снаружи, а расковыряет землю, да и хоронит. Ну далеко ли до корня? Я ему резон говорю, а он заливается хохотом! Просто отпетый какой-то Майошка, мой любезный однокашник.

И все это Афанасий Иванович рассказывал, стараясь как можно тщательнее очистить поверхность земли в горшке своего любезного рододендрона, не поднимая на меня глаз и устремив все свое внимание на цветочную землю и на свою работу; но, вдруг заметив, что и я курю мои соломенки-пахитосы, он быстро взглянул, стоит ли в приличном расстоянии от меня бронзовая пепельница. Вследствие этого не по натуре его быстрого движения я сказал ему:

– Не опасайтесь, дорогой Афанасий Иванович, я у вас не насорю. Но скажите, пожалуйста, гость ваш, так вас огорчивший, ведь это тот молоденький гусар, что сейчас от вас вышел хохоча?

– Да, да, – отвечал Сеницын, – тот самый. И вышел, злодей, с хохотом от меня, восхищаясь тем, что доставил мне своим визитом работы на целый час, чтоб за ним подметать и подчищать. Еще слава богу, ежели он мне не испортил вконец моего рододендрона. Я, вы знаете, не прочь принять то-

варища и угостить чем Бог пошлет; но терпеть не могу, когда приятели нарушают заведенный у меня порядок, и неволь-но в таком разе отвечаю им словами мельника в Сан-Суси из известной исторической побасенки Андриё: «Chacun est maitre dans sa maison!»<sup>39</sup>

Спустя несколько времени добрейший Афанасий Иванович, приведя все в порядок, несколько поуспокоился после визита шаловливого гусарчика, произведшего у него такую кутерьму, и сидел уже, поджавши ноги, на диване, усердно занимаясь другим важным делом – расчесыванием волнистой шерсти великолепного своего Атаргуля (тогда романы Евгения Сю были в великой моде<sup>41</sup>), эспаньоля<sup>42</sup> темно-кофейной масти, пользовавшегося привилегиею ложиться с ногами на диван; но, впрочем, и то правда, что щепетильно-аккуратный и опрятный, как квакер или гернгутер<sup>43</sup>, как его называли полковые товарищи, владелец этого изящного пса позволял ему эту исключительную льготу не иначе

---

<sup>39</sup> Всякий человек – господин в своем доме.

<sup>40</sup> Бурнашев имеет в виду стихотворение французского писателя Франсуа Андриё «Мельник из Сан-Суси» (1797). Приведенного изречения в нем нет, но оно верно передает его смысл. (*Примеч. В. А. Мильчиной.*)

<sup>41</sup> «Атар Гюль» (1831) – роман Евгения Сю. Герой его Атар Гюль – молодой негр, мстящий своему хозяину за смерть отца.

<sup>42</sup> Имеется в виду бретонский эпаньоль – порода легавых собак.

<sup>43</sup> Названы протестантские движения, представители которых строго придерживаются принципов христианской морали и являются сторонниками умеренности и своего рода аскетизма в быту.

как по личному удостоверению в том, что тринадцатилетний мальчик-казачок Фифка (т. е. Феофилакт), имевший специальной обязанностью пестунство и уход за Атаргулем, старательно вытер лапы своего воспитанника после каждого его возвращения со двора.

Чтоб не играть долго в молчанку, которая с Афанасием Ивановичем была, впрочем, довольно обыкновенна, а вместе с тем несколько заинтересованный моею встречей с гусарским офицером, обратившимся ко мне с такою странною шуткою, я спросил Сеницына: «Кто же этот гусар? Вы называете его Майошкой, но это, вероятно, школьная кличка, *nom de guerre*<sup>44</sup>?» – «Лермонтов, – отвечал Сеницын, – мы с ним были вместе в кавалерийском отделении школы; только он и несколько других юнкеров оставались в школе после меня, почему надели эполеты лишь в прошлом году<sup>45</sup>. Я их всех чинами перегнал, потому что на днях ведь меня произвели в поручики, что чудо из чудес у нас в конной гвардии, где все страх как засиживаются в чинах, не то что в кавалергардах, у которых почти что год, то чин; долго эти господа там не служат, а больше всё разлетаются в адъютанты или выходят в отставку и уезжают за границу. Наши же все слугаки; к тому же у нас много остзейцев, а эти как где засядут,

---

<sup>44</sup> прозвище (*фр.*).

<sup>45</sup> Неточность. Сеницын, как и Лермонтов, был произведен из юнкеров в корнеты лейб-гвардии 22 ноября 1834 г. См.: Анненков И. В. История лейб-гвардии Конного полка 1731–1848. СПб., 1849. Ч. 4. С. 266.

так сидят там крепко, стараясь перетащить к себе побольше своих земляков».

– Вы говорили давеча, любезнейший Афанасий Иванович, – спросил я, почти не слушая служебных рассуждений моего собеседника, – вы говорили, что этот гусарский офицер, Лермонтов, пишет стихи?

– Да, и какие прелестные, уверяю вас, стихи пишет он! Такие стихи разве только Пушкину удавались. Стихи этого моего однокашника Лермонтова отличаются необыкновенною музыкальностью и певучестью; они сами собою так и входят в память читающего их. Словно ария или соната! Когда я слушаю, как читает эти стихи, хоть, например, Коля Юрьев, наш же товарищ, лейб-драгун, двоюродный брат Лермонтова, также недурной стихотворец, но, главное, великий мастер читать стихи, – то, ей-богу, мне кажется, что в слух мой так и льются звуки самой высокой гармонии. Я бешусь на Лермонтова главное за то, что он не хочет ничего своего давать в печать, и за то, что он повесничает со своим дивным талантом и, по-моему, просто-напросто оскорбляет божественный свой дар, избирая для своих стихотворений сюжеты совершенно нецензурного характера и вводя в них вечно отвратительную барковщину. Раз как-то, в последние месяцы своего пребывания в школе, Лермонтов, под влиянием воспоминаний о Кавказе, где он был еще двенадцатилетним мальчишкой, написал целую маленькую поэмку из восточного быта, свободную от проявления грязного вкуса. И заметьте, что по

его нежной природе это вовсе не его жанр, а он себе его напускает, и все из какого-то мальчишеского удалства, без которого эти господа считают, что кавалерист вообще не кавалерист, а уж особенно ежели он гусар. И вот эту-то поэмку у Лермонтова как-то хитростью удалось утащить его кузене Юрьеву. Завладев этою драгоценностью, Юрьев полетел с нею к Сенковскому и прочел ее ему вслух с тем мастерством, о котором я уже вам говорил сейчас. Сенковский был в восторге, просил Юрьева сказать автору, что его стихотворения все, сколько бы он их ни давал, будут напечатаны, лишь бы только цензура разрешила. А та-то и беда, что никакая в свете цензура не может допустить в печать хотя и очаровательные стихи, но непременно со множеством грязнейших подробностей, против которых кричит чувство изящного вкуса.

– А, вот что, – заметил я, – так эта прелестная маленькая поэма «Гаджи-Абрек», напечатанная в «Библиотеке для чтения» прошлого, 1835 года, принадлежит этому маленькому гусарику<sup>46</sup>, который сейчас почти закутал меня капишоном

---

<sup>46</sup> См.: *Лермонтов* [Так!]. Хаджи Абрек // Библиотека для чтения. 1835. Т. 11. Отд. I. С. 81–94. Ср.: «С нами жил в то время дальний родственник и товарищ Мишеля по школе, Николай Дмитриевич Юрьев, который после тщетных стараний уговорить Мишеля печатать свои стихи передал, тихонько от него, поэму „Хаджи Абрек“ Сенковскому, и она, к нашему немалому удивлению, в одно прекрасное утро появилась напечатанною в „Библиотеке для чтения“. Лермонтов был взбешен, по счастью, поэму никто не разобрал, напротив, она имела некоторый успех, и он стал продолжать писать, но все еще не печатать» (*Шан-Гирей А. П. М. Ю. Лермонтов // М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников.*

своей шинели и уверял меня, личность ему совершенно не знакомую, что его гусарский плащ целуется с моею гражданской тобою, причем употребил один очень нецензурный глагол, который может быть кстати разве только за жженкой в компании совершенно разнузданной. Кто бы мог подумать, что такой очаровательный талант – принадлежность такого сорвиголовы!

– Ну, эта фарса с шинелью очень похожа на Лермонтова, – засмеялся Синицын. – За тем-то он все хороводится с Константином Булгаковым<sup>47</sup>, проделками которого нынче

---

С. 42).

<sup>47</sup> Этот Булгаков, Константин, служивший в лейб-гвардии Московском полку, хотя в Школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров числился в Преображенском полку, был знаменит своими разнообразными, иногда очень остроумными проказами, почему он был в милости у великого князя Михаила Павловича, снисходительно относившегося к шалостям молодежи, ежели шалости эти не проявляли ничего вредного [Константин Александрович Булгаков, сын московского почт-директора, разносторонний и талантливый человек, не нашедший применения своих богатых способностей и разменявшийся на бесконечное число скандалов и светских «шалостей», которыми был в свое время знаменит. Он воспитывался сначала в Царскосельском лицее, а затем был переведен в Московский университетский пансион, где, по-видимому, и познакомился с пятнадцатилетним Лермонтовым. В 1830 г. Лермонтов посвятил Булгакову следующую эпиграмму: На вздор и шалости ты хват, И мастер на безделки, И, шутовской надев наряд, Ты был в своей тарелке. За службу долгую и труд, Авось на место класса, Тебе, мой друг, по смерть дадут Чин и мундир паяса. Почти одновременно с Лермонтовым Булгаков перешел в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербурге, откуда был выпущен в лейб-гвардии Московский полк. Великий князь Михаил Павлович – генерал-фельдцейхмейстер, ведавший всей артиллерией и инженерными войсками, гроза гвардии – самодур и грубиян, знал Булгакова еще лицеистом в 1825 г. и теперь прощал ему остроум-

полон Петербург, почему он, гусь лапчатый, остался лишний год в школе. Однако, многоуважаемый В[ладимир] П[етрович], я с вами не согласен насчет вашего удивления по поводу поэтического таланта, принадлежащего сорвиголове, как вы сказали. После Пушкина, который был в свое время сорвиголовой, кажется, почище всех сорвиголов бывших, существующих и грядущих, нечего удивляться сочетанию талантов в Лермонтове со страстью к повесничанью и молодечеству. А только мне больно то, что ветреность моего товарища-поэта может помешать ему в дальнейшем развитии этого его див-

---

ные выходки, невольным участником которых нередко бывал сам. В. М. Еропкин в числе других анекдотов о Булгакове рассказывает: «Его высочество едет по Большой Морской. Булгаков идет в калошах, которые строго были запрещены офицерам. Его высочество закричал: „Булгаков, калоши, под арест!“ Немедленно отправляется Булгаков в комендантскую и сдает калоши под арест, со словами: „по личному приказанию его высочества Михаила Павловича“» (Русский архив. 1878. № 2. С. 183). В письме от 20 декабря 1833 г. Михаил Павлович писал А. Я. Булгакову-отцу: «Хочу поговорить с Вами о Вашем сыне <...>. Это молодой человек прекрасного сердца, умный и вообще богато одаренный природою <...> он брошен был в свет, может быть, слишком рано и с самого раннего возраста наслаждался им всячески <...> весьма естественно, что ему стало большого труда освоиться с тем порядком, которому надлежало подчинить его наравне со всеми его товарищами, как скоро он поступил в школу подпрапорщиков <...>. От этого он пришел в уныние и вообразил себя ни к чему не годным...» (Русский архив. 1873. № 3. С. 0422). Сохранились интереснейшие письма М. И. Глинки к Булгакову в зрелых годах (1855–1856). Они характеризуют К. А. как человека, хорошо знающего музыку. В предисловии к этим письмам М. Лонгинов пишет: «Кто не знал в свое время Булгакова <...> он не развил далеко своих блестящих дарований, но был по природе артист, отличный музыкант и певец по призванию. Он страстно был „привязан к искусству“» (Русский архив. 1869. № 2. С. 350). (Примеч. Ю. Г. Оксмана.).

ного таланта, который ярко блещет даже в таких его произведениях, как, например, его «Уланша». Маленькую эту шуточную поэмку невозможно печатать целиком; но, однако, в ней бездна чувства, гармонии, музыкальности, певучести, картинности и чего-то такого, что так и хватает за сердце.

– Не помните ли вы, Афанасий Иванович, – спросил я, – хоть нескольких стихов из этой поэмки? Вы бы прекрасно угостили меня, прочитав из нее хоть какой-нибудь отрывок.

– Как не знать, очень знаю, – воскликнул Синицын, – и не только десяток или дюжину стихов, а всю эту поэмку, написанную под впечатлениями лагерных стоянок школы в Красном Селе, где между кавалерийскими нашими юнкерами (из которых всего больше в этот выпуск случилось уланов) славилась своею красотой и бойкостью одна молоденькая красноселька. Главными друзьями этой деревенской Аспазии были уланы наши, почему в нашем кружке она и получила прозвище Уланши. И вот ее-то, с примесью всякой скарроновщины<sup>48</sup>, воспел в шуточной поэмке наш Майошка<sup>49</sup>. Слушайте, я начинаю.

– Прежде чем начать, – перебил я, – скажите на милость, почему юнкера прозвали Лермонтова Майошкой? Что за

---

<sup>48</sup> Французский писатель Поль Скаррон (1610–1660) писал грубоватые бурлескные произведения, нередко со скабрёзными мотивами.

<sup>49</sup> Отрывок и пересказ «Уланши» впервые были опубликованы А. М. Меринским (Воспоминание о Лермонтове // Атенеи. 1858. № 48. С. 288–289), более полный текст был напечатан в «Библиографических записках» (1858. Т. 2. № 12. С. 374–375).

причина этого собрике?

– Очень простая, – отвечал Синицын. – Дело в том, что Лермонтов маленько кривоног, благодаря удару, полученному им в манеже от раздраженной им лошади еще в первый год его нахождения в школе; да к тому же и порядком, как вы могли заметить, сутуловат и неуклюж, особенно для гвардейского гусара. Вы знаете, что французы, бог знает почему, всех горбунов зовут *Maueux* и что под названием «*Monsieur Maueux*» есть один роман Рикера<sup>50</sup>, вроде Поля де Кока; так вот Майошка косолапый уменьшительное французского *Maueux*<sup>51</sup>.

Дав мне это объяснение, Синицын прочел наизусть вслух, от первой строки до последней, всю поэмку Лермонтова, ко-

---

<sup>50</sup> Роман Огюста Рикара «*Monsieur Maueux*» был издан в 1831 г.

<sup>51</sup> *Maueux* – озлобленный горбун, умный остряк, влюбчивый циник, честный гражданин – популярный герой бесчисленных карикатур (в особенности работы Шарля Травье[са]) и целой цепи французских романов (1830–1848). Он непримиримый враг самодовольной буржуазии Июльской монархии: его идеология перерастает в идеологию мелкой буржуазии и в свете событий 1848 года приобретает отчетливо революционный характер. «К нам дошел из Парижа <...> особенный тип <...> горбатого *Maueux*, – писала [А. Дюма] Е. П. Ростопчина, – и Лермонтову дали это прозвище, вследствие его малого роста и большой головы, которые придавали ему некоторым образом фамильное сходство с этим уродцем» (*Le Caucase. Nouvelles impressions de voyage par Alex. Dumas. Leipzig, 1859. P. 261–262*). Историю литературного типа «*Maueux*» подробно проследил П. Н. Сакулин (Лермонтов – «Маёшка» // *Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1910. Т. 15, кн. 2. С. 71–72*). Содержательная справка дана в «*Grand dictionnaire universel*» par Pierre Larousse (Т. 10. P. 1383–1384). (*Примеч. Ю. Г. Оксмана.*)

торая впоследствии была напечатана, конечно, с выпуском всего неудобопечатаемого и чересчур скарронского, в 1859 году в «Библиографических записках» покойного А. Н. Афанасьева, труды которого были так полезны истории отечественной библиографии.

Я с большим удовольствием прослушал стихотворение, в котором нельзя не заметить и не почувствовать нескольких очень бойких стихов, преимущественно имеющих цель чисто живописательную. Тогда Синицын вынул из своего письменного стола тетрадку почтовой бумаги, сшитую в осьмушку, и сказал мне:

– По пословице: «кормил до бороды, надо покормить до усов». Вам, В[ладимир] П[етрович], по-видимому, нравятся стишки моего однокашника, так я вам уж не наизусть, а по этой тетрадке прочту другие его стихи, только что вчера доставленные мне Юрьевым, для списка копии. Это маленькое стихотворение Лермонтова называется «Монго»<sup>52</sup>.

– Вот странное название! – воскликнул я.

– Да, – отозвался Синицын, – странное, и источник которого мне неизвестен. Знаю только, что это прозвище носит

---

<sup>52</sup> Стихотворение это с некоторыми пропусками напечатано П. А. Ефремовым в «Библиографических записках» 1861 г. № 20 и перепечатано в «Собрании стихотворений Лермонтова» 1862 г. редакции Дудышкина. Т. I. С. 192. В 1871 г. М. И. Семевский с некоторыми дополнениями напечатал «Монго» в своих приложениях к «Запискам Е. А. Хвостовой». Но и тут есть описка против того манускрипта, писанного рукою М. Ю. Лермонтова в 1836 году и с неделю находившегося у моего приятеля А. И. Синицына, позволившего мне списать тогда же верную копию.

друг и товарищ детства Лермонтова, теперешний его однополчанин, лейб-гусар же, Столыпин<sup>53</sup>, красавец, в которого, как вы знаете, влюблен весь петербургский beau monde<sup>54</sup> и которого в придачу к прозвищу Монго зовут еще le beau<sup>55</sup> Столыпин и la coqueluche des femmes<sup>56</sup>. То стихотворение Лермонтова, которое носит это название и написано им на днях, имело, soit-dit entre nous<sup>57</sup>, основанием то, что Столыпин и Лермонтов вдвоем совершили верхами, недель шесть тому назад, поездку из села Копорского близ Царского Села на Петергофскую дорогу, где в одной из дач близ «Красного кабачка»<sup>58</sup> все лето жила наша кордебалетная прелестнейшая из прелестных нимфа, Пименова, та самая, что постоянно привлекает все лорнеты лож и партера, а в знаменитой бенуарной ложе «волокит» производит появлением своим целую революцию. Столыпин был в числе ее поклонников, да и он ей очень нравился; да не мог же девочке со вкусом не нравиться этот писанный красавец, нечего сказать. Но громадное богатство приезжего из Казани, некоего, кажется,

---

<sup>53</sup> См. примеч. 23 к очерку «Эпизод из бального сезона 1835 года в Петербурге».

<sup>54</sup> высший свет (*фр.*).

<sup>55</sup> красавчик (*фр.*).

<sup>56</sup> любимчик женщин (*фр.*).

<sup>57</sup> между нами говоря (*фр.*).

<sup>58</sup> Трактир «Красный кабачок» находился на 10-й версте Петергофской дороги, на берегу реки Красненькой.

г-на Моисеева, чуть ли не из иерусалимской аристократии<sup>59</sup> и принадлежащего, кажется, к почтенной плеяде откупщиков, понравилось девочке еще больше черных глаз Монго, с которым, однако, шалунья тайком видалась, и вот на одно-то из этих тайных и неожиданных красоткою свиданий отправились оба друга, т. е. Монго с Майошкой. Они застали красавицу дома; она угостила их чаем; Лермонтов скромно уселся в сторонке, думая о том, какое ужасное мученье (тут Синицын опустил глаза в тетрадку и стал читать):

Быть адъютантом на сраженье  
При генералишке пустом;  
Быть на параде жалонёром<sup>60</sup>,  
Или на бале быть танцором;  
Но хуже, хуже во сто раз  
Встречать огонь прелестных глаз  
И думать: это не для нас!  
Меж тем Монго горит и тает...  
Вдруг самый пламенный пассаж  
Зловещим стуком прерывает  
На двор влетевший экипаж.  
Девятиместная коляска,  
И в ней пятнадцать седоков...  
Увы! печальная развязка,

---

<sup>59</sup> То есть еврейского происхождения.

<sup>60</sup> Жалонёр – солдат, носящий в строю на штыке ружья цветной флаг (жалонерский значок), служащий для указания места военного подразделения и линии при построении войск.

Неотразимый гнев богов!..

То был Мойсеев со своею свитой, и проч.

– Можете представить смущение посетителей и хозяйки! – продолжал Синицын. – Но молодцы-гусары, недолго думая, убедились, что (он снова прочел по рукописи):

Осталось средство им одно:

Перекрестясь, прыгнуть в окно.

*Опасен подвиг дерзновенный,*

*И не сдержать им головы;*

Но в них проснулся дух военный:

Прыг, прыг!.. И были таковы<sup>61</sup>.

– Вот вам вся драма этого милого, игривого, прелестного в своем роде стихотворения, которое я целиком сейчас вам прочту; извините, испортил эффект тем, что прочел эти отрывки.

Но благому намерению Афанасия Ивановича помешал вошедший полковой берейтор в таком мундире, какой, кажется, и нынче носят эти господа, т. е. в таком, какой по сей час присвоен полковым капельмейстерам и похожий несколько на конногвардейский вицмундир формы того времени, только без эполет и со шляпой без султана. Оказалось, что бе-

---

<sup>61</sup> Я намеренно привожу здесь эти стихи, потому что у М. И. Семевского по рукописи П. А. Ефремова изложение в них неправильное и недостает двух стихов, которые здесь напечатаны курсивом.

рейтор из немцев пришел к Афанасию Ивановичу приглашать его к полковому командиру генералу барону Мейендорфу, прославившемуся во время Польской 1831 года войны своим дивным из дивных кавалерийских подвигов на мосту под Гроховом<sup>6263</sup>. На этот раз дело шло о каком-то принадлежащем Сеницыну выезжаемом молодом жеребце Манфреде, которого генерал, кажется, желал приобрести за щедрую плату для своей превосходительной особы. Как бы то ни было, Сеницын, отпустив тотчас берейтора, стал одеваться в вицмундир. Я же, видя, что мне необходимо прекратить мое посещение, встал и сказал Сеницыну, охорашивавшемуся перед зеркалом, причину моего визита. Причина эта была та, о которой я упомянул в самом начале моей статьи, именно приглашение добрейшего и любезнейшего Афанасия Ивановича на танцевальный вечер Дмитрия Николаевича и Натальи Григорьевны Масловых, назначенный дня через два, именно 17 сентября, в день Ангела их второй дочери, Веры Дмитриевны<sup>6465</sup>. Афанасий Иванович принял без

---

<sup>62</sup> Ныне генерал от кавалерии и обер-егермейстер [Неточность: Мейендорф был обер-шталмейстером, а не обер-егермейстером.]. Некогда это был прототип изящнейшего гвардейского кавалериста и красавец. Он был женат на вдове генерала Потемкина, урожденной Брискорн.

<sup>63</sup> Во время сражения между русскими и польскими войсками у деревни Грохов 13 (25) февраля 1831 г. Е. Ф. Мейендорф со своим подразделением произвел кавалерийскую атаку на центр польских войск, прорвался к мосту через Вислу и не позволил сжечь его.

<sup>64</sup> Она впоследствии была замужем за генерал-адъютантом Фроловым и умерла в молодых годах еще.

всяких жеманств и церемоний приглашение этого добрейшего и истинно любезного и гостеприимного дома, о котором, как об одном из тех петербургских домов, которые оставили во мне наилучшее впечатление на всю мою жизнь, я распространюсь когда-нибудь в той моей статье, которую озаглавлю: «Светская жизнь в Петербурге в 1830–1850 гг.»<sup>66</sup>, где я надеюсь воспроизвести, разумеется, с точки зрения собственных, а не заимствованных от кого бы то ни было впечатлений, тогдашнее житье-бытье в Петербурге того не высшего, но хорошего среднего круга, в котором я постоянно с юношеских лет вращался и которого многие черты проявлены уже мною в прежних моих статьях и особенно в той статье, которая печатается в «Русском вестнике» под названием «Воспоминания из эпизодов моей частной и служебной деятельности с 1834 по 1850 г.».

Теперь же скажу о доме Масловых только то, что глава этого семейства Д. Н. Маслов, майор в отставке, был некогда губернским предводителем рязанского дворянства и носил постоянно орден Св. Анны, украшенный настоящими, как жар горевшими, алмазами<sup>67</sup>, которых он никогда не хотел заменить стразами, потому что орден этот он получил от импе-

---

<sup>65</sup> Бурнашев ошибся. Женой И. С. Фролова была Екатерина Дмитриевна Маслова.

<sup>66</sup> Статью с таким названием Бурнашев не написал.

<sup>67</sup> За отличия при блокаде Гамбурга и Магдебурга Д. Н. Маслов был награжден орденом Св. Анны 2-й степени. За храбрость в сражении с французами 25 октября 1813 г. под Рейхенбергом – алмазным знаком ордена Св. Анны 2-й степени.

ратора Александра Павловича, посетившего Рязань в начале двадцатых годов, когда государь явил ему и его семейству другую милость, состоявшую в том, что повелел всех сыновей Дмитрия Николаевича и Натальи Григорьевны, сколько бы их у них ни было (а их было, кажется, шесть человек), зачислить в Пажеский корпус, где все они и воспитывались. В то время, когда я побывал в этом приятнейшем доме и, исполняя поручение милейшей и добрейшей хозяйки, приглашал на танцевальный их вечер Афанасия Ивановича Сеницына, трое из их сыновей носили пажеский мундир, и старший из них, Михаил Дмитриевич, вскоре был назначен камер-пажом, а потом поступил в лейб-гвардии Гусарский полк, где, кажется, дослужился до подполковников. Говорю «кажется», потому что, поступив в апреле 1839 года на службу в Удельное земледельческое училище (через что я разорвал все или почти все мои светские сношения и отношения), я расстался со многими домами, из числа которых дом Масловых был тот, с которым я расстался ранее, чем с другими. Причиною тому была кончина добрейшей Натальи Григорьевны, изнемогшей от печали по замужней дочери Вере. Старшая из девиц Масловых, Евгения Дмитриевна, оставшаяся во главе семейства, превосходная личность, каких мало на свете, вышла впоследствии в Рязани замуж за доктора Венецкого, овдовела и потом, как я слышал, тоже умерла. После нее остался сын, бывший в Петербургском университете во время так называемой «студенческой исто-

рии 1861 года». В 1862 или 1863 году в «Иллюстрированной газете» В. Р. Зотова была статья, принадлежавшая этому молодому человеку и изображавшая яркими красками один из несчастных случаев его крайней юности<sup>68</sup>. Статья эта свидетельствовала о таланте молодого человека, дальнейшая судьба которого мне неизвестна. По смерти матери, кажется, в 1840 или 1841 году, все семейство разъехалось в разные стороны и преимущественно в Рязань, куда Дмитрия Николаевича привлекали его хозяйственные дела. Как бы то ни было, три или четыре года довольно короткого знакомства в этом доме, когда мне было с небольшим 25–26 лет, оставили в памяти моей неизгладимые черты, внесенные мною в мой ежедневный журнал, который я постоянно вел с самых почти отроческих лет.

Светский зимний сезон 1836–1837 годов начался для меня весело, приятным вечером у Масловых, где мы с Афанасием Ивановичем проплясали, как теперь помню, не только всю ночь, но и часть утра, так что, не желая в шесть ча-

---

<sup>68</sup> См.: *Венецкий М.* Три недели бродяжничества (Из воспоминаний школьной жизни) // Иллюстрация. 1863. № 256–261. Студентом Петербургского университета был Алексей Иванович Венецкий, т. е. названные Бурнашевым воспоминания написал другой человек, возможно, брат А. И. Венецкого. М. Венецкий опубликовал также воспоминания об участии в Крымской войне «Война и плен» (Библиотека для чтения. 1859. № 2, 3, 6). В 1863 г. официальным редактором «Иллюстрации» был не В. Р. Зотов, а П. М. Цейдлер. Со второй половины 1863 г. «Иллюстрация», слившись с «Иллюстрированным листком», была преобразована в «Иллюстрированную газету» под редакцией В. Р. Зотова, чем объясняется ошибка Бурнашева.

сов утра будить мою семью, состоявшую из матери, постоянно больной, и сестры, только что вышедшей преждевременно (по фантазии матери) из Смольного<sup>69</sup>, я поехал не ночевать (о сне и речи не было, потому что уже в 10 часов необходимо должно было быть на службе в Военном министерстве), а пить кофе и завтракать к Сеницыну в конногвардейские казармы, где я и получил от Афанасия Ивановича дня на два подлинную тетрадку со стихотворением «Монго» для снятия с нее копии. И вот благодаря этой-то верной-распреверной копии, тщательно списанной мастерски и каллиграфически одним из подчиненных мне тогда писарей (разумеется, за довольно изрядное вознаграждение), я и могу теперь восстановить те стихи, которые оказываются выпущенными в напечатанных доселе. В это же утро А. И. Сеницын дал мне для списания еще одно юнкерское стихотворение Лермонтова под названием «Петергофский праздник»; но это стихотворение, полное скарроновщины, мне было не по сердцу, хотя и в нем есть места истинно превосходные, свидетельствующие о замечательном таланте автора. Достоинно внимания, что в этой грязноватой поэме главным действующим лицом был изображен юнкер Мартынов, вышедший в гатчинские кирасиры, родной и старший брат Мартынова, имевшего несчастье убить на дуэли в 1841 году Лермонтова<sup>70</sup>.

---

<sup>69</sup> Речь идет о С. П. Бурнашевой.

<sup>70</sup> «Петергофский праздник», так же как и «Уланша», был написан Лермонто-

Повторяю, зима 1836 и начала 1837 года была для меня одна из самых веселых в моей жизни, отчасти, может быть, потому, что мне в эту зиму привелось сопровождать на вечера и на балы, вместо матери (как я выше сказал, почти постоянно больной), шестнадцатилетнюю монастырочку, мою сестренку, и вспоминаю, что эта новая роль не то ментора, не то cavalieri-serventi<sup>71</sup> занимала и забавляла меня и оставила

---

вым в 1833–1834 гг. в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и помещен в рукописном журнале «Школьная заря» № 4. «Журнал должен был выходить один раз в неделю, по средам, – рассказывает А. Меринский, – в продолжении семи дней накапливались статьи. Кто писал и хотел помещать свои сочинения, тот клал рукопись в назначенный для того ящик одного из столиков, находившихся при кроватях в наших каморах. Желавший мог оставаться неизвестным. По средам вынимались из ящика статьи и сшивались, составляя довольно толстую тетрадь, которая в тот же день, при сборе всех нас, громко прочитывалась. При этом смех и шутки не умолкали. Таких номеров журнала набралось несколько. Не знаю, что с ними случилось; но в них много было помещено стихотворений Лермонтова, правда, большею частью не совсем скромных и не подлежащих печати <...>» (*Меринский А.* Воспоминание о Лермонтове. С. 288). В «Школьной заре» были помещены также лермонтовские «Гошпиталь», «К Тизенгаузену» (за подписью Гр. Диарбекир) и не менее порнографическая «Ода к нужнику» (за подписью «Жрец нужника инвалид Николай Иванович»). Названные произведения характеризуют быт юнкерской школы, в которой педерастия была обычным явлением. Полностью эти произведения напечатаны в заграничном издании «Русский эрот. Не для дам» (1879). «Петербургский праздник» впервые напечатан в «Библиографических записках» (1859. № 12. С. 374–375) и в издании Ф. Шнейдера «Стихотворения М. Ю. Лермонтова, не вошедшие в последнее издание его сочинений» (Берлин, 1862. С. 42–48). Герой поэмы, по всей вероятности, не старший Мартынов, а юнкер лейб-кирасирского полка Дм. Серг. Бибииков ([1813]–1861), впрочем, данных, категорически опровергающих Бурнашева, не имеется. (*Примеч. Ю. Г. Оксмана.*)

<sup>71</sup> поклонника, воздыхателя (*ит.*)

во мне много, много впечатлений. Но, впрочем, вся эта рассеянная жизнь, какую я вел с 17 сентября, не уклонила меня от моих обычных занятий, посвящаемых, правду сказать, слегка службе в Военном министерстве и преимущественно посещениям Удельного земледельческого училища, сотрудничеству в «Журнале общепользных сведений» (от «Северной пчелы» я тогда почти отстал) и изготовлению для книгопродавцев под разнообразными псевдонимами всевозможных книг, книжек и книжонок, что все вместе давало мне, как говорится, *de quoi manger et boire*<sup>72</sup>, имея в руках семью и, главное, молоденькую девушку-сестру, вступавшую в свет и продолжавшую свое музыкальное воспитание для развития весьма крупного и замечательного таланта, не утратившего и поныне своей силы и очаровательной свежести. Среди всех этих проявлений моей постоянной и обычной деятельности я посещал довольно часто библиотеку «для чтения» (как будто библиотека для чего иного, как не для чтения) Смирдина на Невском в доме Петропавловской церкви. Библиотекарем этой библиотеки, древнейшей в Петербурге и созданной еще Плавильщиковым в XVIII веке, был знаменитый в то время библиофил и библиоман Федор Фролович Цветаев, человек весьма недюжинный и владевший такою удивительною памятью, какую щеголять могут лишь в крайне ограниченном числе избранныки. Память его была до того изумительна, что давала ему возможность безошибочно,

---

<sup>72</sup> Чем наесться и напиться.

наизусть, без всякой справки указывать на страницы различных мест из огромных сочинений и знать в тончайших подробностях историю каждого мало-мальски рельефного издания из числа тех нескольких тысяч томов, какие составляли библиотеку покойного А. Ф. Смирдина, лучшую в городе. К тому же он до того сроднился с этими книгами и размещением их в книгохранилище, что знал, где которая из них на полках стоит, и указывал ее своим юным помощникам-мальчикам без запинки и затруднения. Я был из числа многочисленных посетителей, один из тех немногих, который пользовался добрым расположением, впрочем, довольно угрюмого и не слишком-то общительного Федора Фроловича, которого в то время знал и уважал весь читающий и в особенности литературно работающий Петербург, почему в статье моей, которая исподволь мною на 1873 год подготавливается под названием «Петербургские редакции тридцатых и сороковых годов», воспоминание о Федоре Фроловиче займет не последнее место<sup>73</sup>.

Пользуясь моим ежедневным журналом, вспоминаю теперь, что 26 января 1837 года я, имея поручение от начальства собрать сведения печатные и практические (последние, разумеется, посредством тогдашнего моего благоприятеля директора Удельного земледельческого училища М. А. Байкова) об огородном производстве для составления проекта

---

<sup>73</sup> См. в приложении развернутый план этой статьи, в котором упомянут и Ф. Ф. Цветаев.

записки о полковых огородах, зашел в библиотеку Смирдина и принялся за каталог, делая из него многочисленные выметки. Вдруг Федор Фролович, как бы ни к селу ни к городу, спросил меня:

– А что, В[ладимир] П[етрович], давно ли вы виделись с Николаем Ивановичем Гречем?

– Да уж давненько, – отвечал я, – недели три-четыре будет, кажется. Заезжал в новый год, да они нынче, видно, познатному, не принимают. А что?

– Как что? Да вы разве не знаете, – продолжал Федор Фролович, по обыкновению своему угрюмо, – ведь он поражен страшным ударом: его второй сын, этот молоденький студентик, Николай, после кратковременной болезни умер третьего дня; завтра его хоронят. Неужели вы ничего не знали? Понимаю! Там, говорят, предоставлены разные распоряжения по приглашениям вашему недругу, Володе Строеву, этому «левому Гречеву глазу с бельмом», как прозвал его хромой бес Воейков, и вот этот-то господин, видно, нарочно не послал к вам билета, чтобы отсутствие ваше произвело на отца неприятное впечатление и чтобы потом этим самым можно было вас получше почернить в глазах доверчивого и слабохарактерного Николая Ивановича. Поезжайте же туда, поезжайте непременно и постарайтесь, чтобы вас там видели.

Меня очень поразило это известие, потому что хотя Коля Греч, восемнадцатилетний юноша, годами семью был меня моложе, но я искренно, от глубины души, любил его и

находил неподдельное наслаждение в умно-веселой беседе и любезном обращении этого не по летам развитого и образованного молодого человека, в котором самое дельное развитие сочеталось с милым беззаботным характером и постоянною натуральною оживленностью, действовавшею на всех как-то заразительно. Он был столь же, как его отец, остроумен, с тою, однако, разницею, что его остроумие никогда никого не ранило, не оскорбляло, а, напротив, в самой шутке и даже насмешке его слышалось всегда какое-то необыкновенное добродушие и милое простосердечие.

Не будучи поразительным красавцем, этот розовый, светлокудрый юноша был очень недурен собою, и его симпатичные большие темно-голубые глаза оставляли невольное приятнейшее впечатление в каждом человеке, не лишенном эстетического чувства и любви ко всему истинно прекрасному. Ежели бы смерть не сразила его на девятнадцатом году жизни, из него вышел бы замечательный литературный деятель или превосходный драматический артист. В последний раз я его видел, цветущего здоровьем и вполне веселого и счастливого, 6 декабря 1836 года в Николин день, когда, несмотря на то что Греч и его семейство были лютеране, отец и сын праздновали день своего ангела по православному обычаю. На этот раз именины Николая Ивановича и Николая Николаевича праздновались как-то особенно блистательно: съехалось бесчисленное множество гостей, так что и большая зала, и зала-кабинет были заняты столами, за кото-

рыми обедало до двухсот человек. Перед концом обеда принесена была и подана Гречу цидулочка с поздравлением знаменитого Пушкина. Тогда, конечно, никто не мог подозревать того ужасного события, которое лишит через полтора месяца Россию одной из рельефнейших ее знаменитостей. Впрочем, в это время некоторые знавшие Пушкина и, между прочими, А. Ф. Воейков говорили мне, что Александр Сергеевич Пушкин был постоянно далеко не так весел и оживлен, каким видел я его прежде и даже за месяц пред тем на пятничном вечере у А. Ф. Воейкова (см. «Мое знакомство с Воейковым» № 11 «Русского вестника» 1871), какая-то туча была на челе великого поэта. Алексей Николаевич Греч, старший сын Греча (впоследствии женившийся на разведенной Тим, сестре известного художника и издателя «Художественного листка»<sup>74</sup>), а также покойный брат Греча Павел Иванович, тогда полковник лейб-гвардии Финляндского полка, рассказывали мне во время именинного праздника, 6 декабря, что за два дня до именин у Николая Ивановича 4 декабря праздновались именины его жены Варвары Даниловны и вместе с тем день рождения одной из дочерей<sup>75</sup>. Замечательно, что Греч и семейство его лютеране, а жена

---

<sup>74</sup> Имеются в виду Э. К. Ш. Тимм и В. Ф. Тимм. Эмилия Тимм в 1839 г. вышла замуж за К. Брюллова; в том же году они развелись по его инициативе. Ходили слухи, что причиной была добрачная связь Э. Тимм с отцом.

<sup>75</sup> Имеется в виду дочь Н. И. Греча Софья, которая родилась 4 декабря 1811 г.

реформатка или кальвинистка, как я уже и заметил, имели странное обыкновение праздновать по-русски свои именины, делаясь на эти дни православными. В доме Греча был семейный праздник, на котором были почти все свои, родные. Часов в девять вечера, проезжая по Мойке из Коломны в Английский клуб (бывший тогда в Демидовом переулке), Александр Сергеевич Пушкин увидел сильное освещение у Греча и, думая найти у него литературное собрание об «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара<sup>76</sup>, заехал из любопытства на минутку; но неожиданно попал на семейный праздник и был особенно восторженно принят своим страстным поклонником Колей Гречем, который не отставал от него и которому Пушкин выражал свою искреннюю симпатию. Пушкин не отказался от бокала шампанского и просил Колю прочесть отрывок из его «Бориса Годунова», восхищался дикцией и верностью интонации и предрекал, что из этого мальчика должен образоваться второй Гаррик или Тальма. Это последнее предсказание Пушкина (как говорили тогда домашние Греча, и в том числе мне собственно одна из его молоденьких родственниц Розалия Р[аше]т, с которой

---

<sup>76</sup> 16 марта 1834 г. на квартире Греча состоялось совещание, посвященное началу работы над «Энциклопедическим лексиконом», главным редактором которого должен был стать Греч. А. С. Пушкин тогда отказался участвовать в написании статей для этого издания. 13 октября 1836 г. Греч опубликовал в «Северной пчеле» (№ 234) сообщение о прекращении своего участия в издании «Энциклопедического лексикона». Поэтому 4 декабря 1836 г. Пушкин никак не мог предполагать, что у Греча проходит собрание, связанное с «Лексиконом».

я часто танцевал на вечерах) очень не полюбилось тогдашней жене Греча, немножко жеманной и педантичной, но доброй Варваре Даниловне, которая по поводу этого предсказания сказала: «Ces poètes ont toujours des idées si baroques!» (У этих поэтов всегда такие вычурные идеи). Как бы то ни было, а Пушкин, как заметили многие, был не в своей тарелке, и некоторые тут же на вечере относили это к тому, что он в качестве камер-юнкера должен был бывать на частых церемониях во дворце, чрез что утомлялся физически и нравственно. Но позднейшие события злополучной катастрофы 27 января 1837 года уже в конце 1836 года послужили пояснением той мрачной задумчивости, которая отразилась на всем лице впечатлительного поэта и заставила его в несколько дней постареть на несколько лет. Пробыв 4 декабря у Греча с полчаса, Пушкин удалился. Греч сам проводил его в прихожую, где лакей Пушкина подал ему медвежью шубу и на ноги надел меховые сапоги. «Все словно бьет лихорадка, – говорил он, закутываясь, – все как-то везде холодно и не могу согреться; а порой вдруг невыносимо жарко. Нездоровится что-то в нашем медвежьем климате. Надо на юг, на юг!..» Он это быстро говорил в прихожей, куда за ним вместе с хозяином, его братом и сыновьями высыпало несколько человек веселившейся молодежи. Юноша Коля Греч, прощаясь с Пушкиным, тут же сказал ему совершенно бессознательно, по-видимому: «Ах, ежели бы мне привелось увидеть вас, Александр Сергеевич, в цветущих долинах этого юга, куда

вы хотите поехать!» – «Гора с горой не сходится, – заметил, как-то грустно улыбаясь, Пушкин, – а человек с человеком сойдется. До свидания, Тальма en herbe<sup>77</sup>!» И он вышел на лестницу, чтоб сесть в карету, а Коля сбежал за ним и провожал до тех пор, пока Пушкин не сел в экипаж. На дворе было холодно, градусов не менее двадцати, т. е. зимний Николин день того года вполне оправдывал поговорку простонародья: «Никола с гвоздем». Возвратясь с мороза в теплые комнаты, ветреный Коля вместо того, чтобы тотчас выпить чего-нибудь горячего, отказался от чашки шоколада, разносимого в это время гостям вместе с десертом, и порывисто устремился к подносу, на котором высилась *bombe à la Sardanapale*<sup>78</sup> из превосходного разноцветного мороженого, и наложил себе его целую хрустальную тарелочку. Потом, когда нанятый скрипач, сопровождавший повсюду тогдашнего танцевального учителя Дютака, напился так пьян пуншем, что, как говорится, лыко не вязал, – к роялю в огромной зале сел известный в то время фортепианный учитель, бывший впоследствии содержателем музыкального магазина, и поныне носящего его фирму, Бернар, и заиграл веселый вальс. Тотчас Коля взял одну из сестер и полетел с нею, а за ним все молодые люди, тут бывшие, за тридцать пять лет пред сим находившие в танцах то, чего в них нынче молодежь не находит, – поэтическое наслаждение. Однако тан-

---

<sup>77</sup> начинающий (*фр.*).

<sup>78</sup> бомба Сарданапала (*фр.*).

цы под фортепиано что-то не клеились, и мало-помалу общество разъезжалось, претекстуя<sup>79</sup> большею частью зов на именные вечера к русским варварам, *pur sang*<sup>80</sup>, а Коля Греч продолжал злоупотреблять мороженым, уверяя всех, что нет ничего лучше этих ледяных комков против мучительного внутреннего жара. Было ль, не было ль это началом болезни, только помню, что я Колю Греча встретил после 6 декабря как-то на Невском перед Рождественскими праздниками и нашел, что он далеко не такой розовенький, каким я его привык видеть. Он отвечал мне на мой вопрос о его здоровье, что ему что-то нездоровится эту пору после именин; но что это все пустяки и, конечно, скоро пройдет. Во время Рождественских праздников я во французском книжном магазине Белизара (что ныне Мелье) в доме Голландской церкви выбирал хорошенькую, конечно, не слишком дорогую книжку для кого-то из знакомых малюток и тут столкнулся со старшим сыном Греча Алексеем Николаевичем, находившимся тогда на службе в качестве переводчика в редакции «*Journal de St. Pétersbourg*». Он мне передал, что брат его, Коля, совсем нездоров и не выходит из комнаты. Я заехал к Гречу в первый день нового (1837) года. В те времена было в обычае не принимать делающих лично церемонные визиты, чтоб не тревожить их беспрестанным скидыванием и надеванием шуб, так как при большом знакомстве приходилось делать

---

<sup>79</sup> То есть используя в качестве предлога (от *фр.* *prétexte* – предлог).

<sup>80</sup> чистокровным (*фр.*).

до сотни в день заездов. Я отдал человеку в передней мои визитные карточки и спросил о здоровье Николая Николаевича. Слуга отвечал, что всю пору сидели дома, а сегодня выехали с визитами к попечителю и к ректору университета<sup>81</sup>, да еще в два-три знакомых дома.

– Ну, значит, болезнь прошла, – подумал я и вовсе не беспокоился об Коле Грече, почему тем больше 26 января поразила меня весть о его смерти, переданная мне Цветаевым.

Все эти мысли и воспоминания наполняли мою голову, пока я шел по Мойке от Полицейского моста к дому Греча, на Мойке же против самого пешеходного Почтамтского мостика рядом с громадным Юсуповским палацом<sup>82</sup>. С грустным чувством вошел я в переднюю, где застал в это время одного только старого слугу Греча, хорошо известного всем знакомым и вообще посетителям Николая Ивановича. Плёрёзы<sup>83</sup> на воротнике и на рукавах черного платья этого преданного слуги, носившего Колю некогда на руках, произвели на меня неприятное впечатление с первой минуты моего входа в этот дом скорби. Старик узнал меня тотчас и, приняв мою шубу, повешенную им на вешалку, сказал, заметив расстройство на моем лице:

---

<sup>81</sup> Попечителем Петербургского учебного округа в это время был М. А. Дондуков-Корсаков, а ректором Петербургского университета – И. П. Шульгин.

<sup>82</sup> Нынче весь этот дом, принадлежащий другому владельцу, занят под огромную центральную кассу частной купли и продажи.

<sup>83</sup> Плёрёзы – траурные нашивки на одежде.

– Вы, конечно, все знаете и пришли проститься с нашим ангельчиком. – И добрый человек не выдержал, залился слезами. Я не мог удержать моих слез и с участием обнял этого верного и преданного служителя, который продолжал: – Вы, сударь, никого из семейства теперь не увидите: все умаялись эти дни ужасно, и доктор дал даже Николаю Ивановичу каких-то капель, чтоб он мог заснуть. И вот теперь он, бедный, у себя наверху в спальне спит. Алексей Николаевич поехал по этим всё делам, по похоронным-то; Варвара Даниловна совсем расхворалась, Екатерина Ивановна (т. е. сестра Греча) все хлопочет и мечется из угла в угол; а девицы наши (т. е. дочери Греча) гостят у дядюшки, у генерала-то Андрея Яковлевича (Ваксмута)<sup>84</sup>.

Все это старик мне рассказывал перед самыми дверями кабинета-залы, запертыми на ключ.

– Лишнего люда, – толковал старик, бережно отворяя дверь, – Николай Иванович-то не приказали пускать смотреть на нашего покойника. У нас, у русских, конечно, обычай тот, что на покойника глазеть, словно на чудо какое, все идут; а у них, у лютеран, другие, извольте видеть, порядки: они не так-то любят, когда люди из одного любопытства только смотрят на их усопшего.

Огромная зала-кабинет, в которой я так часто проводил приятно вечера, на этот раз была не совсем светла, потому что все окна ее и стеклянная дверь на балкон в сад были за-

---

<sup>84</sup> А. Я. Ваксмут был женат на сестре Греча Елизавете.

вешены белыми шторами, зеркала обтянуты были черным коленкором, равно и какие только были тут картины. Большой стол был сдвинут к самой двери и освобожден от книг и бумаг, а подле стола стояла длинная темно-зеленая кушетка, в головах которой было поставлено довольно большое серебряное распятие на черном постаменте, в виде гранитного камня. На кушетке этой лежал во весь рост, прямо и грациозно, словно заснул от усталости, Коля Греч в своем студентском мундире с васильковым воротником и золотыми петлицами. Руки в белых перчатках были скрещены на груди. На покойнике не было никакого покрыва, кроме легкой белой дымки, которую старик-служитель бережно снял с тела и тогда, указывая мне на сапоги покойника, сказал шепотом: «В последний раз уж со всем моим усердием постарался для моего голубчика молодого барина и уж так вычистил, как, право, кажется, при жизни его никогда не чистил». При других обстоятельствах наивность эта, может быть, рассмешила бы меня; но на этот раз я не мог смеяться, да и вообще относиться легко к чему бы то ни было. Я глядел на милого усопшего юношу, так много обещавшего и заявившего о себе в жизни уже столько хороших задатков прекрасного будущего. Болезнь и смерть не успели обезобразить милые черты этого доброго, слегка улыбавшегося тогда, как бы воскового лица с закрытыми глазами, окаймленными длинными веками.

Редко случается видеть такого изящного покойника, каким был этот рановременно скончавшийся юноша. Он ни-

сколько, кроме некоторой желтоватой прозрачности нежной кожи на лице, не был похож на мертвого. Вся кушетка, на которой он лежал, покрыта была множеством гирлянд, венков и букетов из натуральных цветов, которые в разнообразных вазах и сосудах расставлены были в несколько рядов на столе. Это были большею частью луковичные цветущие растения, наполнявшие огромную комнату своими ароматами; а несколько тропических растений у самого изголовья и в ногах склоняли свои громадные листья над покойным, который при жизни страшно любил цветы, растения и вообще все относящееся в ботанике. Я довольно долго любовался добрым Колей, светло-русые кудри которого, завитые самою природою, лежали, слегка разметавшись, на белой атласной подушке, и казалось, что вот сейчас он отворит этот приятный ротик, теперь слегка закрытый и все-таки улыбающийся, до того, что на щеках остались следы ямок.

– Вот, – шептал старик-слуга, – вот так он и умирал, сердечный, все улыбался, уверяя, что ему хорошо, очень хорошо; но потом, обращаясь к отцу, сказал: «Увидишь Пушкина, Александра Сергеевича, скажи ему, что Богу не угодно было, чтобы я пошел на театральную сцену, потому что я ухожу не в театральную, а в настоящую жизнь». Что он, сердечный, хотел этим сказать, я ничего не понял; но все-таки я записал себе на память в календаре на листочках эти его слова и не забуду их. Вот поуспокоится Николай Иванович, так я спрошу его, что это была за притча такая.

Поцеловав несколько раз в холодный лоб милого Колю, сотворив крестное знамение по православному обычаю и даже склонясь на паркет, к великому удовольствию старика-слуги, который и сам при этом исполнял то же, казалось, с чувством особенного наслаждения, я вышел в перед-залу, а старик-слуга запер снова бережно дверь на ключ.

– Когда хоронят? – спросил я.

– Завтра часа в четыре пополудни, – отвечал словоохотливый служитель, – приедет немецкий пастор, и при нем в гроб положат. Гроб черный, бархатный, весь как облитый серебряными басонами<sup>85</sup>, готов у гробовщика еще со вчера; да вот Николай Иванович не хотят в гроб покойничка положить. Они говорят: «Пока Коля лежит на кушетке, мне все снится, что он еще встанет; а ежели ляжет в гроб, то уже конец всякой надежде на воскресение». Они не велели и на столто класть тело, а чтоб лежало вот как есть теперь на кушетке, именно на той, на которой покойничек любил отдыхать, когда, бывало, вернется с катка, что ли. Ох, уж этот каток!<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Басоны – текстильные изделия, предназначенные для украшения (кисти, тесьма, бахрома и т. п.).

<sup>86</sup> В те времена обычай кататься на коньках в публике еще не входил в моду, и был во всем Петербурге только один всего каток, принадлежавший какому-то английскому обществу конькобежцев и устроенный на Неве против Английской набережной. Но в то время Булгарин в своем субботнем фельетоне «Северной пчелы» настаивал постоянно на пользе и необходимости этого упражнения [Имеется в виду каток между берегами Невы напротив 12-й линии Васильевского острова, который открыли барон Фелейзен и английские негоцианты Андерсен и Вишар. Позднее его перевели к Английской набережной. Его называли «англий-

– А что? – спросил я машинально.

– Да то-с, – отвечал он, – что, кажется, Николай Николаевич и простуду-то схватил на катке этом проклятом. Впрочем, началась-то простуда у него поистине с 4 декабря, то есть с того самого вечера, как накануне именин, когда у нас танцы были, приезжал этот сочинитель-то Пушкин к нам, а наш-то молоденький барин проводил его до экипажа. На дворе было холодно да ветрено таково: он и схватил себе болезнь, да подмог ей еще этим проклятым катком, о котором наш Фадей Венедиктович похвалы расписывает в нашей «Пчелке», а сам небось не пускается на нем кататься: боится, видно, что жиру-то у него тогда сойдет знатно.

На следующий день, 27 января, я, облекшись в приличный, по тогдашним понятиям, траур, т. е. весь в черном до перчаток включительно, в белом галстухе, с черным крепом на шляпе-цилиндре и с большим креповым бантом на правом обшлагае фрака, часу в пятом явился в дом Н. И. Греча, где нашел бедного этого отца в самом убийственном состоянии нравственной убитости. Он, бедный, казалось мне, постарел вдруг на несколько лет и беспрестанно бросался к покойнику, уже положенному в гроб. Стечение посетителей было огромное: все родственники, друзья и знакомые (а последних у Греча было множество), почти весь город, и

---

ским катком». Булгарин в своем субботнем фельетоне «Журнальная всякая всячина», возникшем в 1841 г., не раз писал о пользе катания на коньках, см., например, в № 27 за 1845 г.].

достойно внимания, что не было почти человека, который не разделил бы с Николаем Ивановичем искренно его печали. Особенно рельефно и трогательно проявлялись студенты здешнего университета, все молодежь такая прекрасная, впечатлительная и державшая себя с милою юношескою задушевностью. Гроб был поставлен на колесницу с балдахинном, и она двинулась, предшествуемая факельщиками с настоящими дымящимися факелами, потому что в то время нынешних фонарей (нововведения начала пятидесятых годов) еще не было. Студенты окружали колесницу с обеих сторон, а за гробом тотчас шло семейство с громадною толпою посетителей, в числе которых я увидел, кроме многих из пишущей братии, почти всех драматических артистов сцен русской, французской и немецкой; сверх того тут было немало музыкантов, живописцев, скульпторов, архитекторов. Одним словом, кажется, весь интеллектуальный и артистический Петербург находился на этом трогательном погребении, и каждый старался показаться кому-нибудь из членов семейства, чтобы быть замеченным и чтобы чрез то выразить как свои симпатии к покойному юноше, так и заявить горестному отцу и всему семейству свое искреннее участие в этой потере. У лютеран в церкви гроба не открывают, почему Греч и все близкие к усопшему окончательно простились с ним еще на дому, где крышка гроба была уже навсегда завинчена.

Скрежет винтов действовал на всех предстоявших, более

или менее уже расстроены, самым неприятным образом. Это была самая страшная для родителей и родственников минута. Николай Иванович несколько минут оставался в обмороке. Когда его привели в чувство, то доктора (а их тут было множество) уговаривали его остаться дома, лечь в постель и не ездить ни в церковь, ни на кладбище. Но после обморока он вдруг как будто оживился и воскликнул: «Я не только буду сопровождать Колю моего до последнего его жилища, но ни за что не сяду в карету, а непременно пойду пешком: это даже будет мне полезно». И действительно, видно, это было ему хорошо, потому что Николай Иванович, невзирая на то, что зимний день был довольно холодный, хотя и совершенно безветренный, все время шел от своего дома до Петропавловской церкви на Невском проспекте близ Полицейского моста без шляпы, в легкой шубе внакидку и, со свойственной ему словоохотливостью, бойко, хотя и вполголоса разговаривал то с тем, то с другим из лиц, к нему подходивших, разумеется, преимущественно о сыне, которого он страстно любил и которого так преждевременно лишился, именно в ту минуту, когда только что начал возлагать надежды на улыбающуюся ему блестящую будущность. Достоинно внимания, что карьера знаменитого драматического артиста, которую за полтора почти месяца пред тем, 4 декабря 1836 года, предрекал ему Пушкин, вовсе не казалась Гречу для сына его невозможною, и, идучи за гробом своего Коли, он об этом говорил с окружавшими его, вспоминая поручение, данное

ему покойным за немного часов до конца, о том, чтоб сказать Пушкину, что «ему не удалось войти в театральную, лицедейную жизнь, потому что он уходит в жизнь настоящую, в которой нет ничего лицедейного». При этом Греч спросил: «Послано ли было приглашение к Александру Сергеевичу? Он так любил Колю моего!»

– Как же, было послано с курьером из нашего министерства, а не по городской почте, – сказал Николай Иванович Юханцов, служивший тогда в Министерстве иностранных дел, вместе со старшим сыном Греча<sup>87</sup>, по редакции «Journal de St. Pétersbourg» помощником редактора графа Сансе.

– Но только, – продолжал Юханцов конфиденциально, – как мне говорил курьер, которого я посылал к Александру Сергеевичу, тамошнее лакейство ему сказывало, что их барин эти дни словно в каком-то расстройстве: то приедет, то уедет куда-то, загонял несколько парных месячных извозчиков, а когда бывает дома, то свищет несколько часов сряду, кусает ногти, бегает по комнатам. Никто ничего понять не может, что с ним делается.

– Верно, пишет новую поэму, – сказал Греч, никуда столько дней не выезжавший, а потому и не знавший ничего о тогдашних городских слухах, против своего обычая знать все первому. – Я знаю, он обыкновенно так ведет себя, пока новое произведение создается в голове его. Ежели он что-нибудь превосходное напишет, не вроде, конечно, всего того,

---

<sup>87</sup> Имеется в виду А. Н. Греч.

что по червонцу за стих недавно продавал нашему добрейшему Александру Филипповичу (Смирдину)<sup>88</sup>, да напечатает в своем «Современнике» хоть в виде приложения, то журнал этот вдруг дойдет до десяти или двенадцати тысяч подписчиков. Ежели сведенборгисты не врут и душа действительно живет такую же загробную жизнью<sup>89</sup>, как мы здесь, то моему Коле будет наслаждение прочесть на том свете в его новой жизни то, что написал оставшийся здесь обожаемый им Пушкин.

Николай Иванович Юханцов, благодетельствованный Гречем и сильно к нему привязанный, всегда отличавшийся холодностью форм, имевших в себе много педантичного и напускного, искренно любил Греча, а потому, заметив из этих слов его расположение к собеседованию, долженствовавшему рассеять его мрачные мысли, сказал полутаинственно, что в городе относительно А. С. Пушкина идут иные толки, а именно что поговаривают о каких-то домашних, очень прискорбных, недоразумениях, о каких-то подметных и других письмах, даже толкуют, что все это может

---

<sup>88</sup> Речь идет о поэме «Анджело», напечатанной в альманахе «Новоселье» (СПб., 1834. Ч. 2. С. 49–80). А. В. Никитенко писал, что за эту поэму «Смирдин платит ему [Пушкину] за каждый стих по червонцу <...>» (*Никитенко А. В. Дневник. Л., 1955. Т. 1. С. 141*).

<sup>89</sup> Имеются в виду последователи шведского оккультиста Эммануэля Сведенборга (1688–1772), который описывал потусторонний мир на основе своих видений; см. его книгу «О небесах, о мире духов и об аде» (*De Caelo et Ejus Mirabilibus et de inferno, 1758*).

кончиться дуэлью между Пушкиным и каким-то кавалергардским офицером Дантесом, который приходится, с левой стороны, близкою родней, просто побочным сыном голландскому посланнику барону Геккерену<sup>90</sup>.

Эта городская сплетня могла бы, конечно, больше заинтересовать Греча, даже во время печального шествия за гробом сына; да дело в том, что рассказ Юханцова совпал именно с тою минутою, когда церемония остановилась у портала Петропавловской церкви и множество лиц бросилось к гробу, чтобы внести его в церковь и поставить на возвышенный катафалк, против которого с кафедры пастор произнес свою речь на немецком языке, полную чувства и высоких христианских понятий.

По окончании речи, продолжавшейся (по обычаю немецких пасторов) почти до семи часов, покрытый гирляндами и венками гроб, снятый с катафалка, был снова принят множеством посетителей. Проталкиваясь в толпе довольно густой, чтобы участвовать в отдании последнего долга покойному, столь любимому мною, юноше, я нечаянно очутился на том месте в головах, где придерживал посеребренную скобу скорбный отец, предавшийся в это время снова всей своей горести. Публики было так много, что несшим гроб двигаться было трудно, как ни старались студенты, бывшие большею частью в ногах, раздвигать толпу, прося всех посторониться.

---

<sup>90</sup> Достоверных сведений об отношениях Ж. Ш. Дантеса и Г. К. де Геккерена нет. Юридически Дантес был приемным сыном Геккерена.

Мы шли шаг за шагом. В это время Греч взглянул в сторону и увидел меня. Заметив на лице моем искреннее расстройство, а не напускную печаль, и увидев, что глаза мои были красны и опухли от слез, которых я не мог удержать, Николай Иванович приветливо протянул мне руку и сказал: «Спасибо! Вы один из тех, которые всею душою любили моего Колю. Я слышал, вы вчера посетили его и долго оставались при нем. Спасибо, спасибо! Всем, всем благодарен от души! Это стечение здесь всех любивших моего Колю хоть сколько-нибудь успокаивает меня. Надо испытать горе, чтоб узнать друзей». Он говорил это, плача почти навзрыд. Кто-то, не помню, кажется, ежели не ошибаюсь, генерал Андрей Яковлевич Ваксмут, который был женат на меньшей сестре Греча, умершей за несколько лет пред тем<sup>91</sup>, сказал ему, что в числе посетителей, провожающих Колю, явились даже те, которые считаются его журнальными врагами, и что это доказательство того, что война из-за мнений не изменяет чувств человеческих в людях порядочных.

– Тем более мне жаль, – отозвался Николай Иванович, – что Александр Сергеевич Пушкин, которого боготворил мой Коля, о котором он говорил в последние часы своей жизни, не захотел почтить сегодня нас своим присутствием. Но ведь все эти господа-аристократы мнят о себе так много и считают себя людьми другой кости<sup>92</sup>.

---

<sup>91</sup> Имеется в виду Елизавета Ивановна Греч, которая умерла в 1832 г.

<sup>92</sup> П. А. Вяземский писал в заметке, не предназначенной для публикации:

В этот момент произошло какое-то движение, совершенно неожиданное; сбоку через толпу кто-то пробирался с великим усилием, чрез что толпа сперлась, сомкнулась близ гроба, и я, совершенно неожиданно для себя, был оттеснен в сторону, так что волею-неволею должен был податься назад, к самому катафалку и никак не мог разглядеть, кто именно подошел к Гречу и сказал тогда ему довольно громко:

– Николай Иванович! Не грешите на бедного Пушкина, не упрекайте его в аристократизме, благодаря которому теперь, когда вы здесь оплакиваете сына, вся Россия оплакивает Пушкина. Да, он сегодня дрался на дуэли и пал от смертельной пули, которую не могли вынуть<sup>9394</sup>.

---

«Греч при мне говорил со слезами на глазах, что Пушкин, может быть, часа за два до дуэли своей писал или послал через кого-то сказать (хорошо не помню) о живейшем участии, которое он принимает в его горе, и извинялся пред ним, что по каким-то неожиданным обстоятельствам сам быть у него не может» (цит. по: *Ивинский Д. П.* Князь П. А. Вяземский: материалы к историко-литературной биографии. М., 2020. С. 170). На самом деле Пушкин просил И. Т. Спасского передать соболезнования Н. И. Гречу после дуэли, 27 января (см.: *Спасский И. Т.* Последние дни Пушкина // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 2. С. 336).

<sup>93</sup> В то время я уже вел мой ежедневник; но тогда, конечно, и в голову мне не приходило, что эти записки когда-нибудь, 35 или более лет спустя, будут в печати как мои личные воспоминания. Ежели бы я имел это в виду, то, конечно, справился бы подробно о том, кто именно был этот вестник. Суматоха, произведенная в то время известием о смерти Пушкина, который тогда, впрочем, был еще только жестоко, хотя и смертельно, ранен, не дала мне возможности справиться, кто именно был этот вестник гибели нашего бесценного поэта.

<sup>94</sup> Слух о дуэли разнесся по Петербургу немедленно. Одним из первых узнал о дуэли командир Кавалергардского полка генерал [Р. Е.] Гринвальд, который в тот

Тогда до слуха моего дошли слова Греча: «Велика, ужасна моя потеря, но потеря Пушкина Россиею ни с какою частною горестью не может быть сравнена. Это несчастье нашей литературы! Это народная утрата!...» Дальнейших слов я не мог расслышать за сделавшимся смятением, среди которого раздавались только слова, долетавшие до моего слуха: «Кто смел убить Пушкина? – Не может быть, чтоб это был русский человек!» На это слышался ответ откуда-то: «Француз Дантес, офицер нашей гвардии и полотер в аристократии». – «Смерть убийце Пушкина!»

«Не с одним, с сотнями ему придется стреляться». – «Мы найдем его!» – Опять слышался голос и, как казалось мне,

---

же день, 27 января, подверг легко раненого Дантеса домашнему аресту. 29 января дело о дуэли было передано суду Конной гвардии и приказом по Отдельному Гвардейскому корпусу высказывалось пожелание – «дело сие окончить сколь возможно поспешнее». Презусом суда 1 февраля был назначен флигель-адъютант [А. И.] Бреверн, и в приказе стояло распоряжение: «судить его [Дантеса] военным судом арестованным». Суд отнесся к делу формально. Заключение в Петропавловской крепости Дантес был 19 февраля приговорен к повешению, но был помилован Николаем I и выслан с фельдшером за границу, куда за ним последовала и жена его Екатерина Николаевна, урожденная Гончарова. Подробные сведения о последних днях Пушкина см.: *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд. М.; Л., 1928, а также: *Поляков А. С.* О смерти Пушкина (по новым данным). Пг., 1922, и сборник: *Модзалевский Б. Л., Оксман Ю. Г., Цявловский М. А.* Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пг., 1924. Материалы военно-судного дела собраны в книге: Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Подлинное военно-судное дело. 1837. СПб., 1900. Биография Дантеса помещена в книге С. Панчулидзева «Сборник биографий кавалергардов. 1826–1908» (СПб., 1908. С. 75–92); см. также биографический очерк, написанный Луи Метманом (*Щеголев П. Е.* Указ. соч. С. 354–370). (*Примеч. Ю. Г. Оксмана.*)

все один и тот же. «Он арестован, он на гауптвахте». – «Ему по военным законам крепостные работы». – «Мы и в Динабурге найдем его!» – Опять слышались голоса. «Это не возвратит России Пушкина». – «Русские люди отмстят иностранцу». Из толпы опять кто-то спокойно заметил: «Как иностранца, не давшего присяги, его вышлют только за границу». – «Наши пули и там отыщут его!» – раздавались молодые голоса. Мне казалось, что у гроба милого мальчика, с которым Пушкин еще недавно был так благосклонно ласков, гремела месть за кровь невозвратимого поэта. В этих отрывочных восклицаниях в эту торжественно-печальную минуту было что-то особенно торжественное и значительное.

Среди всей этой суматохи наконец гроб вынесли из церкви и поставили на колесницу, которая медленным шагом четырех траурных лошадей двинулась к кладбищу. Греч продолжал идти непосредственно за гробом; но он шел уже в шляпе и разговаривал довольно громко и свободно с окружающими его о Пушкине. Молодые студенты были очень раздражены, и, как говорили тогда в городе, это восторженное настроение на похоронах сына Греча, проявленное при получении известия (правда, преждевременного) о смерти Пушкина, было основною причиною тех чисто жандармских мер, какие 29 января, в день смерти Пушкина, и потом 1 февраля, в ночь выноса тела его в придворную Конюшенную церковь, были приняты правительством во избежание какой-нибудь восторженной ребяческой демонстрации.

Во время движения погребальной процессии по Невскому проспекту, когда уже совершенно стемнело и фонари зажглись по улицам, ко мне подошел один из тогдашних моих по Военному министерству сослуживцев, Александр Александрович Пейкер, и предложил мне отстать от церемонии, тем более что с нашей стороны долг покойному Коле отдан, а вместо путешествия на кладбище ехать теперь же в дом княгини Волконской на Мойке близ Певческого моста, где квартировал Пушкин<sup>95</sup>, чтоб узнать, точно ли он скончался или еще жив. Я принял это предложение, и мы в собственных санях Александра Александровича поехали к означенному дому. Но мы нашли всю Мойку покрытую густыми толпами публики, среди которой тогдашние полицианты, в треуголках и красных воротниках с блестящим серебряным шитьем, уговаривали публику не толпиться и расходиться. Оставив сани, мы с Пейкером осторожно протискивались в толпе, поминутно слыша восклицания, направо и налево: «Какая ужасная потеря!» – «Это целое событие!» – «И за какой вздор, за какое-то салонное недоразумение». – «Ох уж эти женщины, всему они причина!» – «Да, да, правду говаривал Фуше: „*Cherchez la femme!*“<sup>96</sup>». – «Говорят, осталось четве-

---

<sup>95</sup> В доме княгини А. Н. Волконской на набережной реки Мойки (который принадлежал в это время С. Г. Волконской) А. С. Пушкин снимал квартиру с осени 1836 г.

<sup>96</sup> Ищите женщину! (*фр.*).

ро малюток<sup>97</sup>». – «Да, он смертельно ранен; но жив еще». – «Бог милостив, проживет еще на радость России, у меня вон брат с пулей в груди прожил двадцать лет, только все страдал одышкой». – «Оно так; но здесь пуля вошла в кишки и, кажется, произвела гангрену». – «Пока я здесь толкаюсь, уже три флигель-адъютанта из дворца приезжали». – «Государь император, слышно, очень опечален».

Прислушиваясь ко всем этим обрывочным фразам, мы, наконец, пробрались к самому подъезду, но на лестницу попасть никак не могли: тут стояли жандармы и полицейские офицеры и решительно никого без особого приказа не пускали<sup>98</sup>. Стоя у подъезда, мы выжидали, не увидим ли кого из знакомых, кто бы мог дать нам сколько-нибудь точные сведения. Я узнал сходявшего с лестницы и садившегося в сани Свиты его величества генерал-майора Семена Алексеевича Юрьевича<sup>99</sup>, которого встречал иногда у тогдашнего петербургского губернатора М. Н. Жемчужникова. Генерал Юрьевич (за несколько лет пред сим умерший в чине гене-

---

<sup>97</sup> У Пушкина было четверо детей: Мария (1832–1919), Наталья (1836–1913), Александр (1833–1914), Григорий (1835–1905).

<sup>98</sup> Опровергая Бурнашева, П. А. Вяземский писал: «Во время болезни Пушкина никакой полиции на улице не было и никому не мешали ходить в дом навещать о состоянии больного. Многие тысячи перебивали тут в эти два дня. Полицейские и жандармские меры были приняты уже позднее при выносе тела в церковь и при самом погребении» (цит. по: *Ивинский Д. П.* Указ. соч. С. 170–171).

<sup>99</sup> Генералом С. А. Юрьевич стал позднее, в 1841 г.

рала от инфантерии и совершенно слепой) состоял тогда при особе государя наследника цесаревича. Садясь в сани, ему поданные, он успел только сказать, обратиться ко мне: «Надежда плохая! Больного я не видел; но Василий Андреевич (Жуковский) в отчаянии. Еду во дворец рассказать его высочеству все, что знаю. Его высочество очень, очень опечален». Спустя несколько минут к подъезду подлетели сани парой с пристяжной на отлете, как тогда большею частью ездили в Петербурге. Из саней выскочил флигель-адъютант в треугольной шляпе с поля с черным пехотным султаном. Оказалось, что это бывший однополчанин Александра Александровича Пейкера, служившего прежде в гвардии и в гвардейском штабе. Они дружески поздоровались и шепотом что-то поговорили. Я только расслышал слова флигель-адъютанта: «Велено переговорить сейчас с Васильем Андреевичем Жуковским и с Николаем Федоровичем<sup>100</sup>. Oh! c'est une histoire cousue d'intrigues!» (О, это история, сплетенная из интриг!). После этой краткой беседы шепотом лицо доброго и чувствительного сослуживца моего, Александра Александровича, приняло вид еще более прежнего грустный и даже как бы убитый. Он мне только тихонько сказал: «Расскажу, когда будем одни». И он точно потом рассказал мне отчасти то, что вскоре узнал весь город и что впоследствии, кажется, в 1867 году было подробно кем-то описано в брошюре, посвященной этому замечательному поединку, в котором Пушкин

---

<sup>100</sup> Имеется в виду Н. Ф. Арент.

очевидно искал смерти<sup>101</sup>.

Мы уже собирались с Пейкером оставить наш пост на подъезде квартиры умиравшего поэта, как с лестницы сбежал придворный лакей в красной ливрее с треуголкой в галуне и крикнул на подъезде: «Карету лейб-медика Арендта». Придворная карета парой в шорах, с кучером в такой же треуголке и красной ливрее, двинулась к подъезду, где тотчас явился толстенький, красный как рак Николай Федорович Арендт, всегда веселый и беззаботный, ласковый и простодушный, теперь нахмуренный и со слезами на глазах. Он приветливо, но печально отвечал на поклон знакомого ему Пейкера и на вопрос его: «Ну что, ваше превосходительство?» – отвечал со свойственной ему порывистостью:

– Ну то, что очень плохо! Наша вся медицина ничего не сделает без Царя Небесного. Земной же царь русский излил всю милость свою на страдальца и вниманием своим помогает бедному Александру Сергеевичу. Чего доброго, царские слова совершат чудо и возвратят России Пушкина!

– Ура, ура, нашему государю! – неволью вырвалось у Пейкера, когда карета Арендта отъезжала уже скорой рысью, а стоявший около нас неизвестный нам мужчина средних лет, в бекеше с бобровым воротником, бравый и, судя по длинным усам, отставной военный, сняв шляпу и махая ею, гаркнул: «Ура!» в полной уверенности, что Арендт сооб-

---

<sup>101</sup> См. примеч. 25 к очерку «Кое-что из моих „воспоминаний“ о прославившемся дуэлью с Пушкиным бароне Дантесе-Гекерне».

шил хорошую весть о здоровье драгоценного больного. Толпа, запружавшая улицу, услышав этот родной возглас, принялась орать «Ура!», не зная, в чем дело, но также махая шапками и шляпами. Бывший тут жандармский полицейский офицер, т. е. в ярко-светло-голубом мундире без аксельбантов (какие присвоены были тогда лишь жандармам III отделения), очень сконфузился этой внезапной демонстрацией и просил публику радоваться, не нарушая уличного благочиния. Пейкер, нечаянная причина этого шума, почувствовав неосторожность своего возгласа, хотя и основанного на самом патриотическом чувстве, шепнул мне, что нам пора по домам, и мы расстались с милым и многолюбимым мною Александром Александровичем, с которым увиделись на другой день, как водится, в залах Военного министерства, где в этот и в последующие дни, разумеется, главным предметом всех наших разговоров был обожаемый всеми нами Пушкин, скончавшийся, как известно, 29 января.

Памятен мне день 27 января 1837 года еще тем, что, проведенный мною отчасти на похоронах искренно любимого мною юноши, отчасти у подъезда дома, где умирал тогда бессмертный русский поэт, день этот закончен был мною совершенно противоположно – в качестве будущего шафера на стоворном вечере тогдашнего моего хорошего и короткого приятеля, с которым я начал службу мою в 1828 году под общим начальством Д. Г. Бибикова. Этот тогдашний мой приятель, будучи в те дни секретарем при директоре Департа-

мента внешней торговли и редактором «Коммерческой газеты»<sup>102</sup>, квартировал вместе со своею почтенною родительницею, незабвенною и добрейшею и очень типичною старушкою Надеждою Григорьевною, в доме Офросимова на углу Царицына Луга и Мойки, против Театрального моста, в третьем этаже, где были очень обширные залы, и в этих-то залах счастливый молодой жених, бывший немного старше меня, принимал свою блиставшую юностью и миловидностью невесту, только что оставившую учебную скамью Смольного монастыря, настоящую смоляночку<sup>103</sup>. Катастрофа, совершившаяся с Пушкиным, не могла же, при всем благоговении к поэту, остановить семейное торжество в доме, не связанном с ним никакими родственными узами, кроме тех уз искреннего, глубокосердечного уважения и любви, какие нравственно связывали всю мыслящую, интеллигентную Россию с поэтом. Во время сговорного бала мы все часто вспоминали о Пушкине и старались оправдать нашу веселость утешительными известиями, полученными о состоянии здоровья несчастного поэта, которому, впрочем, в ночь с 27 на 28 января действительно было получше, в чем еще заверил всех нас добрейший Николай Федорович Арендт, друг этого семейства, приехавший, как теперь помню, в два часа ночи прямо к ужину и кушавший с аппетитом, возбужденным тре-

---

<sup>102</sup> Имеется в виду Г. П. Небольсин, в 1829–1859 гг. редактировавший «Коммерческую газету».

<sup>103</sup> Имеется в виду Л. С. Федорова, с 28 апреля 1837 г. жена Г. П. Небольсина.

возможным днем и проблеском надежды на спасение Пушкина. Я передал при нем тут же последствия того «Ура!», которое сорвалось у Пейкера вследствие его ему рассказа о милостях к Пушкину императора, и добряк Николай Федорович смеялся, говоря, что завтра же расскажет об этом *quiproquo* ее величеству государыне императрице.

Не могу еще здесь не вспомнить того, что во время ма-зурки на этом предсвадебном дружеском бале как дамы, так и кавалеры, участвуя в фигуре, требующей раздачи различных названий, выбирали эти названия из стихотворений Пушкина, как: «Бахчисарайский фонтан», «Онегин», «Татьяна», «Кавказский пленник», «Цыгане», «Руслан и Людмила» и пр. и пр. Я, как недавний сотрудник «Северной пчелы» и никогда в дни моего сотрудничества не любивший знаменитого Фаддея Венедиктовича Булгарина, назвал себя Косичкиным, так как под этим псевдонимом Пушкин разил Булгарина в своей с ним полемической схватке, печатанной в «Московском наблюдателе», прозвав его Фигляриным<sup>104</sup>. Пришлось, однако, *mettre les points sur les i*<sup>105</sup>, объяснить дамам эту журнальную суть псевдонима Косичкина.

Тот, кто 27 января 1837 года праздновал свой сговор с белокурой голубоглазой избранницей своего сердца, Г. П. Н[е-

---

<sup>104</sup> Под псевдонимом Теофилакт Косичкин Пушкин напечатал в «Телескопе» (а не в «Московском наблюдателе») статьи «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» (1831. № 13) и «Несколько слов о ми-зинце г. Булгарина и о прочих» (1831. № 15).

<sup>105</sup> расставить точки над *i* (*фр.*).

больсин], здоровствует и поныне, находясь на высотах административной иерархии в качестве статс-секретаря и члена Государственного совета. Он, может быть, случайно, среди своих государственных занятий и окруженный многочисленным своим семейством, состоящим из сыновей на службе, замужних дочерей и даже из внучат, прочтет не без удовольствия эти строки в «Воспоминаниях петербургского старожилы», тогдашнего шафера и недавнего, в те времена, сослуживца его высокопревосходительства.

Надежды врачей и друзей Пушкина не оправдались: он скончался, как известно, 29 января в третьем часу дня. Толпа публики стеною стояла против окон, завешенных густыми занавесками и шторами, стараясь проникнуть в комнаты, где выставлено было тело навеки умолкшего певца, чтоб проститься с ним; но впуск был затруднителен, и нужно было даже пользоваться какою-нибудь протекциею, чтоб привести в исполнение это столь естественное желание всякого русского человека, мало-мальски не холодно относившегося к очаровательной пушкинской поэзии. Наконец, после многих хлопот, мне это удалось при содействии спускавшегося в то время с лестницы адъютанта военного министра, капитана гвардейской конной артиллерии графа Штакельберга<sup>106</sup>. В это время, когда граф Штакельберг оказывал мне свое содействие, о том же стал его просить армейский уланский офицер

---

<sup>106</sup> Он недавно умер в качестве посла во Франции в последние уже дни Второй империи, будучи генерал-адъютантом и в чине генерала от артиллерии.

с белыми отворотами на синем мундире и с белой уланской шапкою на голове, и в офицере этом я узнал одного из частых посетителей танцевальных вечеров полковника Вильгельма Ивановича Карлгофа, где мы с ним нередко встречались. То был сын знаменитого патриота 1812 года, добрейшего и чрезвычайно своеобразного человека и известного нашего писателя Сергея Николаевича Глинки, Владимир Сергеевич, помнится, любивший отчасти пописывать стихи и печатавший их в альманахах и журналах того времени<sup>107</sup>. Мы нашли темно-фиолетовый бархатный гроб с телом Пушкина в полутемной комнате, освещенной только красноватым и мерцающим огнем от нескольких десятков восковых церковных свечей, вставленных в огромные шандалы, обвитые крепом. Комната эта, помнится, желтая, по-видимому, была столовая, так как в ней стоял огромный буфет. Окна, два или три на улицу, были завешены, а на какую-то картину, писанную масляными красками, и на довольно большое зеркало были наброшены простыни. Гроб стоял на катафалке в две ступеньки, обитом черным сукном с серебряными галунами. Катафалк помещен был против входной двери; в ногах был налой<sup>108</sup>, у которого дьячок в черном плисовом стихаре с серебряными же галунами, стоя спиною к входным дверям,

---

<sup>107</sup> В. С. Глинка в альманахах не печатался (по крайней мере под своей фамилией). Не известны нам и его публикации в журналах того времени, но он выпустил драму в стихах «Отрочь монастырь. Быль XIII столетия» (СПб., 1837).

<sup>108</sup> Налой – то же, что аналой, то есть столик с наклонной верхней плоскостью, используемый во время богослужения как подставка для книг.

читал Псалтырь. Тело покойника, сплошь прикрытое белым крепом, было почти все задернуто довольно подержанным парчовым палевым покровом, по-видимому, взятым напрокат от гробовщика или из церкви. Вошедший одновременно с нами лакей в глубоком трауре, бережно и крестясь, отложил покров и креп, чрез что при красноватом свете восковых церковных больших и малых свечей открылся до пояса наш обожаемый поэт, на которого мы оба, В. С. Глинка и я, жадно устремили наши глаза, не забыв, однако, совершить обычное поклонение до земли и целование образа на груди усопшего. Могу сказать положительно, что в два часа пополудни 30 января, когда я видел тело бессмертного поэта, кроме обыкновенной восковой мраморности вполне застывшего трупа с прочно и крепко закрытыми глазами и ртом чуть-чуть отверстым, обнаруживавшим прекрасные зубы, никаких других признаков мертвенности и разрушения заметно не было. Лицо было необыкновенно спокойно и очень серьезно, но нисколько не мрачно. Великолепные курчавые темные волосы были разметаны по атласной подушке, а густые бакенбарды окаймляли впалые щеки до подбородка, выступая из-под высоко завязанного черного широкого галстука. На Пушкине был любимый его темно-коричневый<sup>109110</sup> сюртук, в каком

---

<sup>109</sup> А не черный, как это, кажется, в «Русском архиве» описывал почтенный барон Бюлер.

<sup>110</sup> Ф. А. Бюлер писал, что в гробу «платье было на Пушкине из черного сукна, старого фасона и очень изношенное» (*Бюлер Ф.* Записка А. С. Пушкина к кавалерист-девице Н. А. Дуровой // *Русский архив.* 1872. № 1. Стлб. 202).

я видел его в последний раз при жизни его, в ноябре месяце 1836 года, на одном из воейковских вечеров, о чем я подробно рассказал в № XI «Русского вестника» 1871 года в статье моей «Знакомство с Воейковым». Что на покойнике Пушкине в гробу был не черный, а темно-коричневый с отливом сюртук, то это подтвердил и тот слуга его, который был при нас во все время, пока мы с Глинкой грустно-внимательно глядели на черты нашего угасшего поэта и как бы врезывали их себе в память. Ежели бы я умел сколько-нибудь правильно владеть орудиями живописи, карандашом или кистью, то на память мог бы воссоздать портрет Пушкина в гробу такой, который был бы несравненно лучше той литографии, какая несколько дней после его смерти явилась во всех книжных и эстампных магазинах и была далеко не удовлетворительна ни в смысле сходства, ни в смысле искусства художника. Около получаса простояли мы тут, не сводя глаз с покойного Александра Сергеевича, причем Глинка, знавший наизусть всего почти Пушкина, читал полупшепотом, словно молитву, отрывки из различных его стихотворений, преимущественно те, в которых поэт жалуется на жизнь и не находит в ней ничего привлекательного. Наконец, старый слуга напомнил, что нам пора удалиться, потому что сейчас начнется панихида для семейства и для близких друзей покойного, которые уже собрались в соседней комнате. Бросив последний взгляд на лицо Пушкина, лежавшего в гробу, и помолясь, мы вышли.

Когда с Глинкою, оба полные дум о Пушкине, мы сошли с лестницы и вышли на улицу, где у подъезда все еще толпились несколько десятков человек и между ними заметны были синие воротники и треуголки студентов, нам привелось услышать замечания публики, обращенные к нам, о том, что и для того, чтоб поклониться праху великого поэта земли русской, нужна протекция; потому что все касающееся погребения Пушкина поручено жандармскому генералу Дубельту, распоряжающемуся тут вполне по-полицейски. В те времена такие речи сходили с рук и никто на такое ворчанье публики не обращал ни малейшего внимания; а когда о чем-нибудь довольно резко по части городской болтовни докладывали императору Николаю Павловичу, то, как нередко рассказывали тогда, он улыбался, приговаривая: «Пусть квакают!» или иногда употреблял в ответ окончание басни Крылова «Слон и Моська», т. е.: «А он идет себе, идет и лая твоего совсем не примечает». Настоящие строгости полицейского надзора, породившие в петербургском обществе некоторую опасливость и осторожность и отразившиеся на всем быте общественном, начались лишь с 1848 года, отчасти благодаря Февральской революции<sup>111</sup>, произведшей брожение во всей Европе, в особенности же благодаря открытию гнусного и нелепого заговора, известного под названием «Заговора Общества Петрашевского»<sup>112</sup>.

---

<sup>111</sup> Имеется в виду французская революция 1848 г.

<sup>112</sup> Имеются в виду члены кружка, с 1845 г. собиравшегося по пятницам дома

Итак, мы с Глинкой, выйдя из-под ворот от подъезда, пошли рядом, имея одну дорогу.

– У меня в кармане, – сказал Глинка, любивший тщеславиться тем, что он достает прежде многих различные стихи, пользовавшиеся рукописной славой, – прелестные стихи, которые вчера только ночью написал один лейб-гусар, тот самый Лермонтов, которого маленькая поэмка «Гаджи-Абрек» и еще кое-какие стишки были напечатаны в «Библиотеке для чтения»<sup>113</sup> и которые тот, чьи останки мы сейчас видели, признавал блестящими признаками высокого таланта<sup>114</sup>. Судьбе угодно было, чтоб этот Лермонтов оправдал слова бессмертного поэта и написал на его кончину стихи высокого совершенства. Хотите, я вам их прочту?

– Сделайте одолжение, прочтите, Владимир Сергеевич, – сказал я, – да только как же читать на морозе? А вот ведь мы в двух шагах от кондитерской Вольфа (у Полицейского моста в доме Котомина), зайдемте туда, велим дать нам по стакану кофе и займемся этими стихами.

– Ловко ли будет, – заметил мой собеседник, – читать эти стихи в публичном месте? Впрочем, в них нет ничего такого, что могло бы произвести в каком-нибудь мало-мальски

---

у М. В. Петрашевского, арестованные в 1849 г. и приговоренные к каторге.

<sup>113</sup> В «Библиотеке для чтения» кроме «Хаджи Абрека» никакие произведения Лермонтова не печатались.

<sup>114</sup> Ср. аналогичное свидетельство: *Столыпин Д. А., Васильев А. В.* Воспоминания (в пересказе П. К. Мартыанова) // М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. С. 202–203.

разумном мушаре<sup>115</sup> злую мысль сделать на нас донос. В них лишь выражается резко и сильно та скорбь, которую чувствует каждый из нас по случаю этой несчастной катастрофы, вместе с гневом на общество, не умевшее защитить поэта от безвыходной случайности, а также и на бессовестного иноземца, дерзнувшего пустить роковую пулю не на воздух, а в сердце великого поэта.

– Ну так что ж, – заметил я, – вы мастерски читаете, прочтите, бога ради, мне эти стихи, которые я тотчас там же и спишу.

Мы вошли в кондитерскую, где встретили двух-трех знакомых нам молодых людей и между ними добрейшего барона Егора Федоровича Розена, что-то декламировавшего посреди кучки военной и статской молодежи. Он, как известно, говорил и читал всегда со своим особенным оригинальным акцентом и с тем восторженным завываньем, которое французы называют *hoquet dramatique*, т. е. драматической икотой. Но свои собственные произведения милейший барон читал уже обыкновенно с таким пафосом, что трудно было удержаться, слушая его, ежели не от смеха, то по крайней мере от улыбки. Оказалось, что он читал стихи своего творения на смерть Пушкина, и в стихах этих была страшная кутерьма, представлявшая смесь мифологии греческой со славянской, германского мистицизма и русского молодчества, исторических воспоминаний и биографических по-

---

<sup>115</sup> Мушар (от *фр.* *mouchard*) – полицейский агент, соглядатай.

дробностей о лице, о Крыме, Кавказе и обо всем на свете. Все вместе был громкий набор фраз и слов трескучих и эффектных, со стихом трудно вырубленным, то рифмованным очень резко, то белым, то гекзаметром; но в этом хаосе искрились две-три счастливые мысли, которые, впрочем, всего менее привлекали внимание самого автора, а подмечались только слушателями<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Эти стихи неизвестны, позднее Е. Ф. Розен посвятил памяти Пушкина стихотворение «Могила поэта» (Сын Отечества. 1847. № 3).

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.